



НАРОДНАЯ ЭПОПЕЯ

СДЕЛАНО В СССР



Федор Абрамов

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Братья и сестры • Две зимы и три лета

Сделано в СССР. Народная эпопея

Федор Абрамов

Братья и сестры. Книга
1. Братья и сестры. Книга
2. Две зимы и три лета

«ВЕЧЕ»

1958, 1968

Абрамов Ф. А.

Братья и сестры. Книга 1. Братья и сестры. Книга 2. Две зимы и три лета / Ф. А. Абрамов — «ВЕЧЕ», 1958, 1968 — (Сделано в СССР. Народная эпопея)

ISBN 978-5-4484-7718-8

В книгу известного советского прозаика Федора Александровича Абрамова (1920–1983) вошли романы «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета», которые по замыслу автора являются и самостоятельными произведениями, и частями тетралогии «Братья и сестры». В основе первого романа, посвященного жизни русской деревни в годы Великой Отечественной войны, повествование о пекашинской семье Пряслиных, в основе второго – рассказ о трудной судьбе послевоенного Пекашина – сложные переживания и противоречивые поступки простого крестьянина, поставленного управлять людьми.

ISBN 978-5-4484-7718-8

© Абрамов Ф. А., 1958, 1968

© ВЕЧЕ, 1958, 1968

Содержание

Книга первая	6
Глава первая	8
Глава вторая	12
Глава третья	19
Глава четвертая	23
Глава пятая	26
Глава шестая	30
Глава седьмая	35
Глава восьмая	39
Глава девятая	43
Глава десятая	46
Глава одиннадцатая	49
Глава двенадцатая	54
Глава тринадцатая	56
Глава четырнадцатая	61
Глава пятнадцатая	65
Глава шестнадцатая	67
Глава семнадцатая	69
Глава восемнадцатая	73
Глава девятнадцатая	76
Глава двадцатая	80
Глава двадцать первая	85
Глава двадцать вторая	88
Глава двадцать третья	91
Глава двадцать четвертая	93
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Федор Александрович Абрамов
Братья и сестры
Книга первая. Братья и сестры
Книга вторая. Две зимы и три лета

© Абрамов Ф.А., наследники, 2012

© Крутикова-Абрамова Л.В., послесловие, 2012

© ООО «Издательство «Вече», 2012

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Книга первая Братья и сестры

Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке, среди высоких плакучих берез, показалась старая сенная избушка, тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца.

Позади был целый день напрасных блужданий по дремучим зарослям Синельги. Сена на Верхней Синельге (а я забрался в самую глушь, к порожистым перекатам с ключевой водой, куда в жару забивается хариус) не ставились уж несколько лет. Травища – широколистный, как кукуруза, пырей да белопенная, терпко пахнущая таволга – скрывала меня с головой, и я, как в детстве, угадывал речную сторону по тянувшей прохладе да по тропам зверья, проложенным к водопою. К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу ольхи и седого ивняка. Русло речки перекрестило мохнатыми елями, пороги заросли лопухом, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие оконца воды, затянутые унылой ряской.

При виде избушки я позабыл и об усталости, и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез: и сама покосившаяся изба с замшелыми, продымленными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые, поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу, и это черное огневище варницы¹, первобытным оком глянувшее на меня из травы...

А стол-то, стол! – осел, еще глубже зарылся своими лапами в землю, но все так же кремнево крепки его толстенные еловые плахи, тесанные топором. По бокам – скамейки с выдолбленными корытцами для кормежки собак, в корытцах зеленеет вода, уцелевшая от последнего дождя.

Сколько раз, еще подростком, сидел я за этим столом, обжигаясь немудреной крестьянской похлебкой после страдного дня! За ним сживал мой отец, отдыхала моя мать, не пережившая утрат последней войны...

Рыжие, суковатые, в расщелинах, плахи стола сплошь изрезаны, изрублены. Так уж повелось исстари: редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких тут только знаков не было! Кресты и крестики, ершистые елочки и треугольники, квадраты, кружки... Такими вот фамильными знаками когда-то каждый хозяин метил свои дрова и бревна в лесу, оставлял их в виде зарубок, прокладывая свой охотничий путик. Потом пришла грамота, знаки сменили буквы, и среди них все чаще замелькала пятиконечная звезда...

Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры, выдувал травяные семена, набившиеся в прорези знаков и букв... Да ведь это же целая летопись Пекашина! Северный крестьянин редко знает свою родословную дальше деда. И может быть, этот вот стол и есть самый полный документ о людях, прошедших по пекашинской земле.

Вокруг меня пели древнюю, нескончаемую песню комары, тихо и безропотно осыпались семенники перезревших трав. И медленно, по мере того как я все больше и больше вчитывался в эту деревянную книгу, передо мной начали оживать мои далекие земляки.

Вот два давнишних полуискрошившихся крестика, вправленных в веночек из листьев. Должно быть, когда-то в Пекашине жил парень или мужик, который и букв-то не знал, а вот поди ж ты – сказала душа художника. А кто оставил эти три почерневших перекрестья, врезанных на диво глубоко? Внизу маленький продолговатый крестик, прочерченный много позже, но тоже уже почерневший от времени. Не был ли человек, носивший родовое знамя трех перекрестий, первым силачом в округе, о котором из поколения в поколение передавались

¹ Варница – оборудованное место для костра и приготовления пищи.

были и небылицы? И как знать, может, какой-нибудь пекашинский паренек, много-много лет спустя, с раскрытым ртом слушая восторженные рассказы мужиков о необыкновенной силе своего земляка, с сожалением поставил крестик против его знамени.

Весь захваченный расшифровкой надписей, я стал искать знакомых мне людей. И нашел. ЛТМ. Буквы были вырезаны давно, может еще тогда, когда Трофим был безусым подростком. Но удивительно: в них так и проглядывал характер Трофима. Широкие, приземистые, они стояли не где-нибудь, а на средней плахе столешницы. Казалось, сам Троха, всегда любивший подать товар лицом, топал посередке стола, по-медвежьи вывернув ступни ног. Рядом с инициалами Трофима размашисто и твердо выведены прямые ССА. Тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андреяновича. А Софрон Игнатьевич, тот, как и в жизни, обозначил себя крепкими, но неказистыми буквами в уголку стола.

У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на довольно свежую надпись, вырезанную ножом на видном месте: М. Пряслин 1942. Надпись была выведена уверенно и по-мальчишески крикливо. Нате, мол, – на Синельгу пришел новый хозяин, который не какие-то палочки да крестики или жалкие буквы может поставить, а умеет расписаться по всем правилам.

1942 год. Незабываемая страда. Она проходила на моих глазах. Но где же главные страдания, потом и слезой омывшие здешние сенокосы? Ни одной женской надписи не нашел я на столе. И мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина...

Глава первая

Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон лесом, пинежские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, лепится на крутой горе, или щелье по-местному; другая вылезла на самый крутой бережок Пинеги – хоть из окошка закидывай лесу; третья, кругом в травяных волнах, все лето слушает даровую музыку луговых кузнечиков.

Пекашино распознают по лиственнице – громадному зеленому дереву, царственно вышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел еще могучий бор и курились дымные избы староверов? Во всяком случае, по загуменью, на задворках, еще и теперь попадают пни. Полуистлевшие, источенные муравьями, они могли бы многое рассказать о прошлом деревни...

Целые поколения пекашинцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные, песчаные да каменистые, пашни. И хоть эти пашни давно уже считаются освоенными, а их и поныне называют навинами. Таких навин, разделенных перелесками и ручьями, в Пекашине великое множество. И каждая из них сохраняет свое изначальное название. То по имени хозяина – Оськина навина, то по фамилии целого рода, или печища по-местному, некогда трудившегося сообщца, – Иняхинские навины, то в память о прежнем властелине здешних мест – Медвежья зыбка. Но чаще всего за этими названиями встают горечь и обида работяги, обманувшегося в своих надеждах. Калинкина пустошь, Оленькина гарь, Евдохин камешник, Екимова плешь, Абрамкино притулье... Каких только названий нет!

От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был и первый враг. Всю жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него: глушил поля и сеньные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверем и всякой нечистью. Оттого-то, видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под окном. В Пекашине и доселе живо поверье: у дома куст – настоится дом пуст.

Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно жмутся друг к другу. Только узкие заулки² да огороды с луком и небольшой грядкой картошки – и то не у каждого дома – отделяют одну постройку от другой. Иной год пожар уносил полдеревни; но все равно новые дома, словно ища поддержки друг у друга, опять кучились, как прежде.

Весна, по всем приметам, шла скорая, дружная. К середине апреля на Пинеге зачернела дорога, уставленная еловыми вешками, засинели забереги³. В темных далях чернолесья проглянули розовые рощи берез.

С крыш капало. Из осевших сугробов за одну неделю выросли дома – большие, по северному громоздкие, с мокрыми, потемневшими бревенчатыми стенами. Днем, когда пригревало, в косогоре вскипали ручьи и по деревне волнуяще расстилался горьковатый душок оттаявших кустарников...

В правлении колхоза уже с час ждали председателя. Люди успели переговорить и о последних сводках Совинформбюро, и о письмах земляков с фронта, посетовали, что от союзников все еще нет подмоги, а председателя не было.

Наконец на улице раздался конский топот.

– Едет наш Еруслан, – сказал кто-то со вздохом. Шум и грохот на лестнице, визг половиц в коридоре – и в контору не вошел, а влетел коренастый мужичина в кубанке, лихо залом-

² Заулок – проулок между домами.

³ Забереги – лед вдоль берега, начинающий таять.

ленной на самый затылок, в стеганке защитного цвета, туго перетянутой военными ремнями. Нахлестывая плеткой по голенищу, словно расчищая себе дорогу, он стремительно, враскачку, прошагал к председательскому столу, бегло окинул колхозников лихорадочно блестящими глазами.

– Заждались? Ничего, привыкайте – время военное. Понятно? А где бригады номер три и четыре?

– Они, Харитоша, еще давеча ушли...

Председатель резко повернул голову к своему посыльному – маленькому, худенькому, как замороженный подросток, старикану, которого в деревне любовно называли Митенькой Малышней.

– Сколько тебе говорено, что здесь нет Харитоши, а есть товарищ Лихачев?

Малышня, возившийся с дровами у печки, виновато заморгал кроткими, голубиными глазками.

– Сейчас же доставить!

Малышню как ветром выдуло из конторы.

Лихачев бросил на стол плетку, смахнул пот с жесткого, изрытого оспой, как картечными, лица и открыл заседание:

– Какую обстановку видим на дворе? Наступающую весну! Генеральная линия – сев. Понятно? Я зачну сегодня без всякой политической подкладки – прямо с голой картины колхоза...

Люди недоверчиво переглянулись. Все по обыкновению приготовились слушать очередную речь председателя о международной обстановке, о положении на фронтах, его нескончаемые сетования на разнесчастную судьбу, обрекшую его воевать в тылу с бабьем.

– А картина эта... – Лихачев поморщился. – Ежели говорить критически, табак, а не картина! Знамя, где, спрашиваю, знамя? В переднем углу в «Красном партизане» Проньке Фролову затылок греет. А почему? Через что лишились? Хлеб в прошлом году упустили под снег? Упустили. Сенокос до ста не дотянули? Не дотянули. Ежели так катиться дальше – это в наше-то геройское время!.. Лихачев сделал паузу. – Бригады, докладываете подготовку к севу.

Бригады молчали. По комнате, путаясь в золотой россыпи апрельского солнца, сизыми волнами расстилался чад самосада.

Лихачев властно сказал:

– Бригады номер один, говори!

Федор Капитонович пожал узкими плечами, не спеша встал:

– По нынешним временам я так понимаю – терпимо. Семена на всходы пробованы, без плугов да борон тоже в поле не выедем – это уж как всегда. Ну а ежели в части навоза и маловато, да опять же война – понимать надо.

И Федор Капитонович, со значением посмотрев на колхозников, сел.

В глазах Лихачева мелькнула растерянность:

– Что ты мне портянку жуешь? Плуги, бороны... Пронька Фролов за тебя позор смывать будет? Товарищ Сталин как сказал? Перестроить всю работу на военный лад! Понятно? Сроки – вот об чем речь.

– Это уж как стихея, товарищ Лихачев, – развел руками Федор Капитонович. Будет тепло – раньше прикончим, а ну как сиверок? ⁴ Опять же сила наша... Колхозников-то натуральных – раз-два, и обчелся...

– Это каких таких натуральных? – недоверчиво спросил Лихачев.

– Стало быть, так: по нашей деревне на войну десятков шесть взято. А кто остался? Старой да малой, да баба, как говорится по отсталости...

⁴ Сиверок – уменьшительное от «сивер» – северный холодный ветер.

Лихачев крикнул в знак одобрения.

– А площадь? – продолжал неторопливо Федор Капитонович. – А площадь как были, так и остались. Вот и получается: семена-то в землю втолочим, а что соберем? Да ведь это разор колхозу и всей державе!

– Выкладывай! – поощрительно мотнул головой Лихачев, которому за многоречивым петлянием бригадира, видимо, почудилось какое-то важное предложение.

– Это к чему ты клонишь, Федор Капитонович? Посевы сокращать? Так понимать надо?

Взгляды всех обратились к черноглазой женщине в белом платке, сидевшей у окна рядом с молодой девушкой.

Федор Капитонович живехонько вскочил на ноги, всплеснул руками:

– Да что ты, бог с тобой, Анфиса Петровна! Такое скажешь – «посевы сокращать». Как можно? Об этом и думать не смей! – Федор Капитонович строго и назидательно потряс дожелта прокуренным пальцем. – А вот ежели бы дальние поля на годик – другой в пары пустить – это другое дело.

– Что-то мудрено говоришь, Федор Капитонович, – опять подала голос Анфиса. – А по мне что пары на два года разводить, что посевы сокращать...

– Это категорически не годится! Понятно? – отрезал Лихачев.

– Ведь вот народ, завсегда переиначат, – с обидой покачал головой Федор Капитонович. – Тут думаешь, как колхозу честь возвратить, а они же тебя и обвинят... Площадь сокращать – грому-то сколько! А подумала ты, Анфисьюшка, что такое площадь, с чем их едят-кушают? Ну хорошо же, растолкую я тебе... Мызы да навины у нас – считай, песок да камень. А при теперешнем уходе – и вовсе погибель наша. А вот ежели получше за ближние поля взяться – картина сразу выиграет, все пары окупятся. Сами знаете, хорошая овца трех худых заменит... И еще скажу... – тут Федор Капитонович, проворно оглянувшись вокруг, снизил голос до шепота: – Люди здесь свои, радители колхоза... Налоги-то с площадей платить. А с умом повести дело – дальние навины списать можно. В районе тоже люди, и к ним подход найдется...

– Правильно... Надо и о себе подумать. С чем год жить будем? – раздались несмелые голоса.

– Это он верно, далеко смотрит!..

– А по-моему, – воскликнула молодая соседка Анфисы, – Федор Капитонович даже очень близко смотрит! По-моему, раз Украина-житница под врагом, сражение там... другие области и края заменить должны. Об этом и в газетах пишут...

Федор Капитонович насмешливо и сожалеюще посмотрел на девушку, которая от смущения покраснела до самых глаз.

– Ну, спасибо, Настасья Филипповна, просветила старика. И про Украину-житницу, и про сражение в ней – обо всем сведенье подала...

– Да будет тебе ехидничать-то, – нахмурилась Анфиса. – Умный человек, а слушать тошно. Срам какой!.. Мужики там кровью обливаются, а мы тут задумали кустарники в навилах разводить. Когда это нас о площадях спрашивали? А теперь небось план такой – пахать не перепахать...

– Тихо! – Лихачев пружинисто выпрямился. – Засевать все – до последней пяди! Понятно? А ты... – он бросил исподлобный взгляд на Федора Капитоновича, – твое выступление сегодня – чистая паника и малодушие. Понятно? Теперь так: вопрос к бригадиру номер два. Как смывать позор с колхоза будешь? Обозначь конкретно сроки. А то завела: кустарники, кустарники... Где твоя перестройка?

Анфиса побледнела, вскинула голову:

– Ну вот что, Харитон Иванович! С завтрашнего дня я тебе не бригадир, поищи другую. Хватит – поперестраивал. Только и слышу: панику не разводи, перестраивайся на военный

лад! А сам-то ты перестроился? А по мне дак вся твоя перестройка, что обзавелся шлейф да брючищами с красной прошвой...

По конторе прошел сдержанный смешок и разом оборвался.

– Ты это, Минина, что? – Лихачев, как штык, выбросил в сторону Анфисы обрубок левой кисти. – Тыл подрывать? На кого работаешь?

В томительной тишине все услышали тяжелую, медвежью поступь в коридоре. Двери треснули, и в контору, шумно дыша, ввалился низкорослый Трофим Лобанов. Из чаши седого волоса, как стоячие озера, глянули круглые немигающие глазищи.

– Слыхали? – вострубил он на всю контору. – Степан письмо от сына получил...

Глава вторая

Анфиса еще с крыльца правления услышала дробный перестук топора – в пристынувшем воздухе он гремел на всю деревню. Она сразу догадалась: сват Степан на своем сеннике воюет. Всегда вот так – и горе, и радость топором вырубает.

Дом Степана Андреяновича, большая двухэтажная хоромина с малой боковой избой, выходит на улицу взвозом – широким бревенчатым настилом с перилами, по которому в прежнее время гужом завозили сено да солому на сенник.

У других хозяев взвозы давно уже переведены на дрова, а новые дома строили вообще без них: для одной коровы и на руках нетрудно поднять корм. Степан Андреянович поддерживал взвоз в сохранности. Поднимаясь на сенник, Анфиса даже отметила про себя, что некоторые прохудившиеся балки заменены новыми лесинами. Ей и всегда-то нравилась хозяйственная ретивость старика, а сейчас, во время войны, когда без мужского догляда на глазах ветшали и разваливались постройки, она всякий раз, проходя мимо, с удовольствием поглядывала на дом свата: все крепкое, добротное, сделано на вечные времена.

Из открытых дверей с просмоленными косяками тянет свежей щепой, старыми березовыми вениками. И тут все надежно, домовито. По одним топорам видать хозяина. Не меньше дюжины их в деревянной натопорне. А сколько топоров, столько, говорят, и рук в доме.

Степан Андреянович, широко расставив ноги в низких валенках, носками зарывшихся в щепу и стружку, выгибал березовый полоз. Непокорное дерево скрипело, упиралось, из стороны в сторону водило тело старика.

– Слыхала про нашу-то радость?

Полоз стремительно повело назад. Анфиса хотела кинуться на помощь, но старик с силой рванулся вперед, и полоз нехотя, со скрипом вошел в петлю.

Наспех вбив расклинь, Степан Андреянович разогнулся и, шумно дыша, с радостным блеском в глазах, подошел к Анфисе. Как всегда – и в лютый мороз, и в несносную жару – он был без шапки. В густых рыжих волосах, подстриженных по-стариковски в кружок, просвечивала мелкая стружка.

– Ну, с праздником тебя с великим, сват. Дождались-таки весточки.

– Да уж праздник дак праздник. Каково, сватыюшка, с самой-то войны ни слуху ни духу?.. Чуешь, двери-то хлопают, – кивнул Степан Андреянович в темный угол на лестницу, которая вела в боковую избу. – Сама-то прямо ожила, а то ведь лежкой лежала. Рубаху сына в избе развесила... Да ты присядь, сватья. – Степан Андреянович выдвинул подсанки из угла, сел рядом с Анфисой.

– А твой все не пишет?

– Нет, – сухо ответила Анфиса. – А что Василий Степанович? Здоров?

– Славу богу, здоров и невредим. А бывать во всяких сраженьях бывал. И на купированных⁵ землях, и в партизанах, и фронт переходил – всего досталось. Вишь ты, сразу-то в окружение попал, ну и письмо-то никак было послать... А что про немцев, Анфисьюшка, пишет – страсть! Людей наших тиранят – хуже татар каких... Да ты зашла бы в избу. Чайку бы попили. Я сахарком на днях разжился... Мы ведь как-никак родня. С твоей-то матерью кумовьями были. Покойница, бывало, редкий праздник не зайдет...

– Зайду, зайду. Только не сейчас. Корова еще не доена. Полдня в правление высидела.

– Заседали?

– Ох, наше заседание, – вздохнула Анфиса. – Весна на поля просится, а у нас глаза бы не глядели. Я не утерпела – сказала. Дак уж Лихачев кричал... А Федор Капитонович, подумай-ко,

⁵ Купированных – оккупированных.

сват, что надумал? Дальние навины под пары пустить... Я говорю, самое время лес на полях разводить. Где только и совесть у человека...

– Даа... – неопределенно протянул Степан Андреянович.

Над головой, обдуваемые ветерком, зашелестели веники. Сквозь щель в крыше робко и неуверенно проглянула первая звездочка. Анфиса поднялась с подсанок:

– Забыла, сват... Завтра по сено с бабами не съездишь? Речонка, говорят, сопрела. Куда они без мужика?

Степан Андреянович почесал в затылке:

– Поясница у меня... ладу нет...

– Поясница? – Анфиса обвела глазами темные простенки с белевшими полозьями. – Сани небось для лесопункта день и ночь колотишь...

– Да ведь плачешь, да колотишь. Исть-пить надо.

– А колхоз пропадай?! Бабы и то говорят: нам житья не даешь, а свата укрываешь... Ты хоть бы для сына это...

– Не по-родственному, сватья, – с обидой в голосе проговорил Степан Андреянович.

– А всю работу взвалить на баб – это как, по-родственному?

На улице, ступая по заледенелой дороге, Анфиса одумалась. Она была вконец недовольна собой. И что это на нее сегодня нашло? Со всеми поругалась. И зачем старику-то радость испортила?

Над деревней сгущались синие сумерки. Огня в домах не зажигали – всю зиму сидели без керосина. Только кое-где в проулках вспыхивала лучина, которой освещалась хозяйка, не успевшая управиться с домашними делами засветло. За рекой вставала луна – огромная, багрово-красная, и казалось, отсветы пожарища, далекого и страшного, падают на белые развалины монастыря, на тихие окрестности северной деревни, затерявшейся среди дремучих лесов.

Дома, подоив корову, Анфиса поужинала в потемках и лишь тогда засветила маленькую копилку.

Под окошками голосисто и жалобно всплеснулась частушка:

На германскую границу
Накидаю елочек,
Чтоб германские фашисты
Не убили дроздочек.

Девушки шли стенкой, взявшись под руки, а сзади них врассыпную, как телята при стаде, бежали нынешние ухажеры.

«Бедные девки, – подумала Анфиса, задергивая занавеску, – погулять-то вам не с кем».

Потом она снова села за стол и стала читать длинный-предлинный вопросник, который ей еще утром вручили в правлении. Неслыханные порядки заводил Лихачев. Каждую неделю бригадиры должны подавать письменную сводку.

Вывозка навоза, ремонт сельскохозяйственных машин и орудий (сеялки, плуги, бороны), процент всхожести семян. Наличие рабочей силы (мужчин, женщин, подростков)...

Да что он, рехнулся? По неделям растут люди, что ли? Но делать нечего пиши, коли приказано.

Последние слова она дописывала зевая, борясь со сном. Уже раздеваясь, услышала под окном летучие, хрусткие шаги.

– Можно на огонек?

В темноте у порога как звезды блеснули глаза. Не дожидаясь ответа, Настя подбежала к Анфисе, обхватила ее холодными руками. На Анфису пахнуло весной, лесом.

– Уже ты, заморозишь! – Она с притворной строгостью начала отпихивать девушку.

– Заморожу? Ну так вот тебе, вот тебе...

И Настя со смехом стала обнимать Анфису, прижиматься к ее лицу нахолодавшей щекой.

Анфиса, поеживаясь, ворча, высвободилась из объятий, накинула на плечи байковую кофту: ей неловко было стоять перед девушкой полураздетой, хотя та редкий вечер не забежала к своей подруженьке. И все вот так: то «на огонек», то «на минутку отпышаться⁶...»

– Ты что не в клубе? – не без удивления спросила Анфиса, разглядывая девушку. На ней была обычная стеганка, в которой она ходила на работу, серые валенки, обшитые на носках кожей.

– А чего я там не видала? Пыль да копоть от лучины? – Настя присела на стул, сдвинула на затылок белый пушистый платок. – Я знаешь где была? В навинах. Мама за прутьем послала – нечем опахаться⁷ у крыльца. А в навинах... Луна, наст крепкий-крепкий. Я как на крыльях летела... А знаешь что, Фисонька? – вдруг присмиревшим, загадочным голосом зашептала Настя. – Мне опять письмо пришло. Карточку просит...

Вся вспыхнув, она медленно подняла глаза к Анфисе:

– Посылать ли?

Анфиса не могла сдержать улыбки. Ох, Настя, Настя, и выдумала ты себе любовь. Парня в глаза не видала – может, и взглянуть не на что. Да и то сказать: где они, парни-то? Хоть на бумаге, а любовь...

И она живо ответила:

– Пошли, пошли. Почему не послать.

Настя с благодарностью улыбнулась ей.

– Я вот не знаю только, – тем же доверчивым голосом, помолчав, заговорила она, – какую карточку... Я бы хотела, знаешь, ту, где я с косами. Только там я босиком. Может, нехорошо?

– А чего нехорошо? Ноги у тебя не украдены. Пусть полюбуется.

– Ох уж ты, Анфиса Петровна... – Настя стыдливо покачала головой.

Потом она с прежней живостью вскочила на ноги:

– Побегу – завтра рано вставать... А я тебе опять сон растрясла.

– Ладно, выплещусь. А как там в дальних навинах? – спросила Анфиса уже у порога. – Много навозил Клевакин навоза?

– Федор-то Капитонович? – беззаботно улыбнулась Настя. – Что ты, Анфиса Петровна! Где кучка, где две. А у Поликарпа и того нет – голым-голо...

– Да не может быть! – Анфиса схватила девушку за руки.

– Нет, вру я, – обиделась Настя. – Сходи посмотри сама.

Анфиса выпустила Настины руки:

– Ну тогда без хлеба останемся... Поликарпова бригада завсегда выручала.

Настя широко раскрытыми глазами, не дыша, смотрела на Анфису. Она поняла все. В дальних навинах без навоза и сорняк не родится. Где же у нее-то глаза были? Еще комсорг... Ведь должна бы знать: Поликарп всю зиму болеет. Тот, колхозный радетель, за него и бригадой правит.

Она быстро забежала по комнате. На столе вздрогнул и замигал светлячок керосинки.

– Вот что, – сказала Настя решительно, – я Лихачева искать пойду.

Анфиса безнадежно махнула рукой:

– Как же, найдешь теперь нашего Харитона.

– Ну так я всех на ноги подыму. Палку возьму да под каждым окошком стучать буду.

– Не выдумывай. Женки весь день с сеном маялись – из-за Синельги вброд доставали...

Настя с отчаянием всплеснула руками:

⁶ Отпышаться – отдышаться.

⁷ Опахаться (опахать, пахать) – подметать, мести.

– Да ведь, может, завтра ручки побегут. Ты что, Анфиса Петровна, не понимаешь?

Анфиса нахмурила брови:

– Разве ребят да девок кликнуть – давеча в клуб прошли.

– А ведь и вправду!

Настя схватила с вешалки Анфисину фуфайку, плат.

– Пойдем, Анфисонька, тебя лучше послушают.

Мишка Пряслин, взбежав на крылечко своего дома, осторожно открыл ворота⁸, ощупью – пересчитывая шаткие половицы в сенцах – добрался до дверей. В избе темно, пахнет сосновой лучиной с печи, нагретым тряпьем. От передней лавки посапывание спящих ребяташек.

– Явился, полуночник. Уроки опять не выучил.

Мишка, не обращая внимания на ворчание матери, приподнявшейся на постели, торопливо прошел в задоски⁹ и, нашарив чугунок с холодной картошкой, сунул несколько картофелин в карман. У печки под порогом с трудом разыскал рукавицы.

– Да ты, никак, опять на улицу?

– Нет, лежать буду, – огрызнулся Мишка. – Понимаешь, – горячо зашептал он, на цыпочках подходя к матери. – У Поликарпа все навины голы... Сейчас прибежала в клуб Анфиса Петровна – всех навоз возить.

Мишка выпрямился, стряхнул с себя сонное тепло.

– Переоденься. В чем в школу-то пойдешь?

– Ну еще...

– Переоденься, кому говорят. Вот уже напишу отцу... Совсем от рук отбился.

– Да пиши ты, жалоба. Все только отцом и стращаешь...

От дома Пряслиных до конюшни целый километр, и вот то, чего боялся Мишка, случилось. Прибежал он на конюшню, а лошадей уже не было.

Конюх Ефим зло пошутил:

– Бойкостью ты, парень, не в отца. Тот, бывало, завсегда во всем первый... Ну, коли проспал, запрягай быка.

И Мишка, чуть не плача от стыда, выехал с конюшни на проклятой животине. Возле кузницы он услышал знакомый-знакомый перепляс кованых копыт. Взметнувшимся ветром у него едва не сорвало с головы шапку, на сани дождем посыпались ошметки наледи. Мимо, весь залитый лунным светом, пролетел Партизан. На санях, натянув вожжи, дугой выгибалась Дунярка.

– Что, Мишка, всхрапнул часок-другой? – насмешливо крикнула она, оборачиваясь. – А я уж за вторым еду.

Мишка хотел крикнуть что-нибудь донельзя обидное, но от Партизана уже и след простыл... Так вот кто опять перескочил ему дорогу! Из-за этой язвы у Мишки вся жизнь шиворот-навыворот. Какого стыда он натерпелся на днях! «У Пряслина рост с телушку, а сознательности на полушку»... Ну и прокатили, не приняли в комсомол... У нее и отец такой. Бывало, идет Мишка с ребятами, а тот сидит под окошком, зубы скалит: «Зятек, приворачивай на чаек». Так и прилип этот «зятек», как репей к шелудивому барану. Ладно, хоть черта зубастого на войну утыпали, а то бы житья от него не было...

У скотного двора народу и лошадей сбилось как на ярмарке. Шум, смех, лязганье вил, смачное шлепанье навоза. Кто-то светил лучиной. Мишка еще издали увидел Партизана. Среди низкорослых брюхатых лошадеенок он возвышался как лебедь – белый, с гордо выгнутой гривастой шеей.

⁸ Ворота – входные двери с улицы в избу.

⁹ Задоски – часть избы спереди печи, отгороженная дощатой заборкой (Примеч. автора).

Мишка пристроил быка в очередь и, кляня все на свете, стал проталкиваться к саням, на которые наваливали навоз. Дунярка и тут командовала. Как же, выхвалялась! Придерживая за узду жеребца, нетерпеливо перебиравшего ногами, она покрикивала:

– Наваливайте скорей! Это вам не бык столетней давности.

– Как же ты оплошал, Михаил? – спросила его Анфиса. – Дунярка, отдай ему Партизана. Где тебе с таким зверем управиться!

– Как бы не так, – ухмыльнулась Дунярка. – Это мы еще посмотрим.

– Не горюй, Мишка, – рассмеялась Варвара Иняхина, поворачиваясь к нему. – Которым с быками не везет, тем в любви везет. Хочешь, ягодка, поцелую?

Мишка оторопело попятился назад. Дунярка взвизгнула.

– Взбесилась, кобыла! – гаркнул Трофим на Варвару. – Скоро на детей будешь кидаться!

– Я бы и тебя, Трофимушко, поцеловала, да у тебя борода колючая...

Поднялся шум, галдеж – вороны так на холод не кричат.

Мишка сбегал к своим саням за вилами – разве дождешься толку, когда бабье свой граммофон заведет? – и вместе с навальщиками принялся отдирать навоз.

Со скотного двора он все же выехал на коне. Уступила Парасковья, которая, как рассудили женщины, хоть на черта посади – все равно по дороге заснет. Немудреный конек, еле ноги переставляет, а ежели поработать ременной – ничего, трясется...

Скрипят полозья по оледенелой дороге. По небу бежит месяц яснолицый, заглядывает Мишке в глаза, серебром растекается по заснеженным полям, по черни придорожных кустов. Сбоку – в половину поля – качается синяя тень от коня.

«Вот бы мне такого коника, – думает Мишка. – Этот почище Партизана был бы. – Он смотрит на великана в огромной ушанке, с жердью в руке восседающего сзади коня. – А еще бы лучше мне таким. Один бы всех фашистов перебил!»

Потом он долго глядит на Полярную звезду, мерцающую в ясном небе, и уже под наплывающий сон думает: «Вот ежели идти на юг, прямо-прямо, много-много ночей и дней идти, можно бы на фронт выйти...»

На ухабе сани трянуло, и Мишка поднял отяжелевшую голову. Перед ним чернел Попов ручей. Сон с него как рукой сняло. По рассказам, в Поповом ручье пугало. Говорят, будто давным-давно тут повесился какой-то мужик, и с той поры каждую ночь о полуночи разъезжает по ручью баба-яга на железной ступе, разыскивает душу бедного мужика...

За Поповым ручьем стали попадаться лошади порожняком, пронеслась Дунярка, что-то со смехом крича на скаку. Скоро показалось и поле, на которое возили навоз. Мишка быстро разгрузился, вскочил на сани и давай нахлестывать коня.

Под утро он вышел на второе место. Но Дунярка – черти бы ее задрали! – обскакала его на целых пять возов. А тут еще привязался сон. И чего только не делал Мишка – и бежал за возом, и лицо снегом растирал, – а сон так и обволакивал его. Под конец он схитрил: свалит воз, сядет на сани, настегает коня и тем временем дремлет.

И вот один раз, когда на обратном пути он задремал, ему вдруг почудилось, что его зовут. Он продрал глаза и похолодел от ужаса: его со всех сторон обступал Попов ручей – от мохнатого ельника темно, как в погребке. Слева, из самой глубины чащи, глухо стонало:

– Ми-ишка, Ми-ишка...

«Это по мою душу...» – мелькнуло в его голове. Падая ничком на подстилку, он успел хлестнуть коня.

– Мишка, Мишка, помоги!..

Голос ему показался странно знакомым. Он остановил коня, приподнялся и опасно повел головой. Далеко в стороне от дороги, там, где ручей переходит в болотистую луговину, на снегу что-то шевелилось.

– Мишка, не уезжай... Партизан утоп...

– А, чертова кукла! – злобно выругался Мишка. – Так тебе и надо! – и он с яростью вытянул коня ременкой.

А через несколько минут, понося на все лады Дунярку, повернул обратно...

Перед самым спуском в Попов ручей (как же он раньше-то не заметил!) бугрилась свежепроезженная росстань. Ну ясно – вот на чем обхитрила. Стахановка!.. Но когда он, миновав кусты, подъехал к луговине, новая боль и отчаянье охватили его: Партизан по самое брюхо стоял в ледяном сусле. Дунярка, всхлипывая, топталась спереди жеребца, тянула его за повод. Свет месяца вспыхивал на ее оледенелых валенках.

– Дуреха, бестолочь! В прелую ручьевину залезла. Вот обезножееет жеребец, тогда узнаешь!

Мишка оттолкнул Дунярку, взял повод в руки.

– Но, Партизан, пошел, пошел...

Жеребец захрапел, обдавая его паром, рванулся вперед, но передние ноги его снова провалились.

– Все, хана... – махнул рукой Мишка. – Надо жерди таскать, ручьевину мостить...

...На скотный двор приехали на рассвете.

– Где вас лешак носит? Уснули? – заорал Трофим.

– А может, они дролились? Ты почему знаешь? – усмехнулась Варвара.

– Это она... – исподлобья взглянул Мишка на Дунярку и вдруг поперхнулся.

Дунярка стояла поникшая, жалкая, ковыряя обледенелым валенком грязный снег. По смуглым, осунувшимся щекам ее текли слезы. И тут Мишка неожиданно для себя пробормотал:

– Завертка у саней лопнула...

Лихачев пришел в ярость, когда утром, возвращаясь из сельсовета, увидел Партизана в упряжке. Как! Армейский боевой конь! Фондовская единица! Сколько раз говорено этому старому пентюху Ефиму: никаких сельскохозяйственных работ! Так нет, не успел отвернуться – в сани с навозом, как последнее быдло...

Лихачев был заядлым лошадиником – в конях разбирался, знал в них толк не хуже любого цыгана. Десять лет он возглавлял конский обоз леспромхоза и чуть не каждый год обновлял свою кавалерию. Война сбила его с насиженного места, но и не призвала к себе. Еще мальчишкой, роясь в песке на старом стрельбище, он наткнулся на забавную штуковину – тяжелую проржавленную чушку с длинной рукояткой. Чушка за ненадобностью – одна ржавчина – полетела в сторону, а вот медный патрон с прозеленью, извлеченный из нее, Харитонку заинтересовал. Прячась от товарищей, он забежал в ближайшие сосны и начал легонько выстукивать патрон о камень. Взрывом навсегда унесло три пальца с левой руки...

Осенью сорок первого года, когда в районе пошла небывалая перетряска кадров, Лихачева назначили председателем колхоза. Десять лет на руководящей, команду знает, чего же еще?

В новой должности Лихачев не изменил своим привычкам. Каждое утро, перед тем как отправиться в правление, он заглядывал на конюшню. Мимо костлявых, мохнатых клячонок, понуро стоявших на сквозняке, он проходил, судорожно перекосив рот, но когда в дальнем утепленном углу, слышав его шаги, всхрапывал белогривый красавец жеребец, суровое лицо Харитона светлело от улыбки...

Лихачев, дрожа от гнева, начал заворачивать коня. Но за Партизаном показались другие, третьи сани, потом он увидел целую толпу женщин возле скотного двора, и мысль его внезапно приняла другое направление. Насчет навоза на днях было крепко разъяснено в райкоме!

Быстро оценив обстановку, Лихачев подогнал своего коня к конюшне, на ходу выскочил из саней и направился к людям.

К удивлению Анфисы, он не стал разносить ее.

– Вот это по-военному, – одобрительно сказал он, сдвигая кубанку на затылок.

Затем, окинув взором холмины навоза, испещренного мокрым снегом, он ткнул плеткой в сторону Анфисы:

– Минина! Под персональную ответственность! Чтобы эти Казбеки в два дня!.. – плетка взлетела по направлению навин. – Почему не весь народ выгнан? Не знаешь, что такое навоз?..

Лихачев строго оглядел копошившихся в навозе людей и, поскрипывая хромовыми, ярко блестящими сапогами, прямой, молодежато перетянутый ремнями, зашагал по дороге к правлению колхоза.

Там, строго-настрого приказав Малышне никого не впускать в контору, он сел за стол, достал бумагу.

Часа через два, отирая пот с рябого лица, он перечитывал:

«В газету “Пинежский колхозник”

Дадим стране героический военный урожай!

Колхозники колхоза “Новый путь” наглядно отрешаются от благодушия, а также от мирных настроений, как учит нас товарищ Сталин. В ночь на 16 апреля под энергичным руководством председателя тов. Лихачева они решительно перестроились на военный лад и открыли экстренную вывозку навоза сверх плана. Ибо, как учит “Правда Севера”, навоз – залог высокого военного урожая. А высокий урожай нужен для победы героической Красной Армии над кровавой собакой Гитлером. Колхозники “Нового пути” так же единодушно решили заменить Украину-житницу Советского Союза, над которой изгаляются временные фашистские изверги, и засеять все площади до последней пяди. Вышеуказанный патриотический подъем колхозников “Нового пути” и наглядная перестройка на военный лад были обеспечены активной массовой и политической работой среди колхозников, а также постоянной опорой председателя тов. Лихачева на актив и на массы.

В то же время имеется сведенье, что в “Красном партизане” тов. Фролов дальние поля навозом не обеспечил. Стыдно, тов. Фролов, а еще знамя держишь! Кому очки втираешь? Родине!

Товарищи председатели! Плотнее обпирайтесь на актив и на массы! Вывозите навоз, пока санный путь держится. Дадим стране героический военный урожай! Следуйте за тов. Лихачевым!

Патриот».

Глава третья

Левый скат пекашинской горы долгие годы оставался необжитым. Куда тут селиться? Пустырь. Зимой снегом занесет – не откапашься...

Здесь-то лет тридцать с лишним назад в прохладном сумраке зеленой лиственницы и пустил свои корни Степан Андреянович. В ту пору свежесрубленная избенка Степана Андреяновича, с подслеповатыми околелками, одиноко торчала на отшибе, а самого его называли еще Степонькой-бедой.

Мать Степана Андреяновича приплелась в Пекашино откуда-то снизу, из монастырей, когда ему не было и года. Несколько лет ходила она с сыном по чужим людям, обшивала, обстирывала их, потом сломала руку, запила, и однажды Марину-распьянеху нашли в лопухах, за гумнами, мертвой.

Пекашинский мир сжалился над сиротой – не дал пропасть. Не по годам рослый и крепкий, Степонька оказался хорошим, сметливым работником и, пока жил в людях, познал все премудрости хозяйничанья на земле, выучился деревенским ремеслам. Лет в семнадцать он твердо решил стать на свое хозяйство. Дело было за малым: не было у Степоньки земли. И парень стал жилы из себя тянуть, чтобы заработать лишнюю копейку. К двадцати годам нажил грыжу, а земля по-прежнему не давалась в руки. Тогда-то и надумал Степонька испытать легкой наживы. На скопленные деньги купил он у богатея Харина красного товару и пошел торговать по деревням. И ведь сначала повезло было: за какой-нибудь месяц капиталы его удвоились.

На обратном пути первый раз в своей жизни Степонька облачился в суконные штаны и кумачовую рубаху с гарусным поясом, а на рыжую голову лихо вздернул фуражку с лакированным козырьком. От такого купеческого вида не по себе стало парню – пришлось понабраться храбрости в кабаке.

Всю дорогу Степонька заливался песнями, гляделся в каждый ручей, с трудом признавая себя в этом разряженном молодце. На пекашинский наволо́к¹⁰ он спустился в полдень. Что делать? Заявиться в деревню среди бела дня не было никакого расчета. Люди все в поле, а Степоньке непременно хотелось протопать из конца в конец по своей деревне-мачехе, да так, чтобы люди глазели из каждого окошка, чтобы останавливались прохожие, спрашивали друг у друга: «Чей же это? Неужто Степонька – распьянехин сын, то бишь Степан Андреянович?..»

Ради этих-то двух последних слов, которые он жаждал услышать от пекашинцев, и решил Степонька выждать вечера на лугу. Сел он под кустик возле дороги и стал думать-гадать о житье-бытье. Солнце немилосердно припекало, клонило в сон. Степонька снял новые сапоги, чтобы не потрескались от жары, снял рубаху, свернул все это бережно и положил под голову. А когда проснулся, не было ни солнца в небе, ни сапог, ни кумачовой рубахи под головой. И вошел он в тот черный вечер в Пекашино не Степаном Андреяновичем, а все тем же Степонькой – распьянехиным сыном, да еще вдобавок Степонькой-бедой...

После этого за многие дела хватался Степан, да что – беда так и ходила по пятам. Заготовлял лес по подряду – лошадь хозяйскую бревном придавило, едва расплатился; повел плоты в Усть-Пинегу по большой воде – под Труфановой горой на ямах растрепало по бревнышку, напарник – пьяница Тришка утонул, а сам Степан насилу приболтался к берегу.

Кто знает, сколько бы еще бросало его по ухабам разбитой мужицкой дороги. Но тут подошли крутые перемены. Тысяча девятьсот семнадцатый год, хоть и в самый разгар страды, ворвался в его избу веселым, задорным криком долгожданного сына. Новая власть дала лошадь из имения бежавшего богатея Харина, нарезала большой клин земли. Правда, в безвременье,

¹⁰ Наволо́к – прибрежный луг.

когда власть в уезде качалась, как дерево в непогоду, натерпелся страху: не раз вместе с лошадью и пожитками отсиживался в лесу. Но вот кончились смутные дни – и попер в гору Степонец, распянехин сын. На работе дичал: во время сенокоса не разжигал костра – проглотит кусок всухомятку, запьет из ручья и снова за косу. Он даже ходить разучился – все бегом, все бегом...

В тридцатом году под горячую руку Степана Андреяновича едва не раскулачили. К тому времени он имел двух коров, двух лошадей, жеребенка, штук десять овец и справедливо считался одним из самых богатых хозяев на деревне. Спасибо, вступилось общество...

А через год увидел: деваться некуда, – и почти последним в Пекашине вступил в колхоз «Новый путь». Обезрадела, опостылела жизнь Степану Андреяновичу. Два года ходил он как больной. Выйдет поутру в заулоч, заглянет в конюшню, а там пусто. Кучка сухого помета да начесы гнедой шерсти в расщепках яслей – вот и все, что осталось от бывшего. По ночам ворочался, не спал. Надолго ли? А что, как все повернется вспять? Два брата постромки рвут, а тут захотели удержать всю деревню в одной упряжке... И потихоньку, таясь от людей, начал он подделывать разные вещи для крестьянского единоличного обихода, случись какая перемена, его не застанешь врасплох.

Со временем ссоры в колхозе приутихли, хозяйство начало крепнуть, а он как пошел петлять боковиной, так и не смог попасть в общую колею. Впрочем, по нынешним беспокойным временам, как любил утешать себя Степан Андреянович, можно бы довольствоваться и такой жизнью, если бы одна незатихающая боль не точила сердце...

Когда стал подрастать сын, отец нарадоваться не мог на своего Васеньку. Всем-то взял парень: и топор, и перо в руках держится. И лестно было отцу выслушивать похвальные речи учительницы на родительских собраниях. Но дальше четырехлетки Степан Андреянович Васю не пустил: «Тебе не грамотой жить, а добро отцово умножать».

Что было после этого? Пять лет воевал отец с сыном из-за книжек – скажи, как дурь какая нашла на парня. А в тридцать четвертом году семнадцатилетний Вася выпросился у отца вести с мужиками плоты в Усть-Пинегу, сплыл по вешней воде, да только перед самой войной заглянул в родительский дом...

Нет, лучше не вспоминать, что тогда вышло. Мало ли чего между отцом и сыном не бывает?.. Поумнел Василий Степанович! Не успели письма досыта начитаться – перевод. На три тысячи рублей! Таких денег в Пекашине никто и в глаза не видал.

И ведь во всем остальном такое везенье – душа поет. Не успела корова отелиться, две ярки объяснились. А вчера – вот уж вправду сказано: рубль рубля ищет – подряд. Сам начальник лесопункта пришел: сделай летние сани и телегу. Хоть и не миновать размолвки с бригадиршей, да какой же хозяин ворота добру не раскроет? Хлеб тут в буханках, не в посулах, опять же чайку-сахару подбросят...

Тянуть с подрядом не в привычке Степана Андреяновича, и потому на другой же день он собрался в лес.

В окнах избы трепетно играли лучи встающего за рекой солнца. На подоконнике розовела пушистая верба, выставленная заботливой рукой Макаровны, большой любительницы всякой красоты. На столе, в берестяной плетенке, рассыпчатые колобки, калачи, с румяной корочкой. Для сына...

Переполненный радостью и той неизъяснимой молодящей силой, которая у пожилого человека разливается по всему телу в минуты огромного счастья, Степан Андреянович затянул ремень с натопорней и, перед тем как выйти из избы, попробовал на ладони острие ножа.

– Ты, мать, довязывай чулок. Приду из лесу – понесу на почту. Да в амбар сходи, чаю-сахару из сундука достань. Пушай родителей вспоминает.

Макаровна, хлопотавшая около печи, с тревогой взглянула на старика:

– У меня из ума не выходит... С чего бы на письме чужая рука? Все сердце выболело...

– Полно с ума-то сходить... – Степан Андреянович засунул нож в ножны, подошел к жене, и, чтобы успокоить глупое материнское сердце, он, как в далекой молодости, взял в свои ладони мягкое, морщинистое лицо Макаровны, заглянул в ее тревожные глаза. – Брось, не мути голову. Чужая рука? Да, может, денщик какой. Прислуга такая из солдат у командиров. Тысячи-то за что-нибудь платят... – Он тяжело вздохнул. – У нас теперь одна забота, мать: дожидаться бы Василья Степановича. Я ведь знал, что Васильюшко одумается...

Уже выходя из избы, он столкнулся в дверях с внуком – четырнадцатилетним пареньком в мягкой кудели белесых волос.

– Дедушко, опять письмо!

– Вот и хорошо, любеюшко, дедушке письмо и надо.

Степан Андреянович засуетился от радости и подмигнул Макаровне: что я говорил? А тоже каркала: чужая рука, чужая рука...

Егорша разорвал конверт, поднес к глазам маленький серый листок.

«Некогда, видно, Васильюшку и письма-то написать, а вишь, весточку опять подал».

Голова Егороши как-то странно качнулась:

– Это... это... не от дяди Васи...

Степан Андреянович обеими руками вцепился в край столешни:

– Читай...

– «Командование части... с глубокой скорбью извещает, что Ваш сын, гвардии политрук Ставров Василий Степанович, 20 марта 1942 года...»

На дощатой заборке зарябила белая с расшитым воротом рубашка... Хватаясь за стол, за стены, Степан Андреянович добрел до кровати, упал... Кто-то стонал, выл по-звериному, а перед глазами его неотступно стояла белая рубашка. И безжалостная память во всех подробностях воскресила тот летний день...

Окна раскрыты, двери настежь – сын дома! И знал же, чем угодить отцу Василий Степанович! Из бани вышел в домашней рубашке с расшитым воротом будто и не расставался с родителем на шесть лет.

«Нет, хорошо на свете, а дома лучше всего!»

Степан Андреянович, счастливый сыновней радостью, лукаво поглаживает бороду: «Погоди, такую ли еще радость припас я тебе, сынок...»

И вот после обеда, когда оба они были уже под хмельком, отец подхватил сына под руку, повел на сеник. Поднявшись первым по лестнице, он широко распахнул ворота, одним махом скинул солому в углу, торжествующе посмотрел на сына.

«Дрожки! Вот это да!» – с изумлением прошептал Василий.

Все ликовало в Степане Андреяновиче, но он сдержался – поднял новый пласт соломы.

«Расписные пошевни!¹¹» – еще больше изумился Василий.

«А в пошевнях-то что? Взгляни-ко».

Василий долго любовался праздничной сбруей, перебирал, мял в руках сыромятные ремни, дул на медные пластинки. Степан Андреянович глаз не сводил с сына:

«Забрало-таки за душу, Васенька. Я ведь знал, что ты в отца, в хозяйстве толк понимаешь...»

Потом Василий стоял в проеме распахнутых ворот, глядел на деревню:

«Значит, и наш колхоз пошел в гору, раз такие дрожки и санки заводит».

«А ведь это, Васенька, вовсе и не колхоза...»

Лучше бы не говорить тогда этих слов! Изменился, побелел Вася, хмеля словно и не было, и таким чужим голосом:

«Куда же ты с этим?.. Продавать?»

¹¹ Пошевни – широкие сани, розвальни.

«Почто, Васильюшко, продавать... – Степан Андреянович решил перевести все в шутку. – Для свадьбы это, для свадьбы твоей. Женись хоть зимой, хоть летом, у отца все готово...»

«Я тебя серьезно спрашиваю».

«Ну хорошо, Василий Степанович, скажу серьезно. Ты что думаешь – так бобылем и будешь весь век по чужой стороне шататься? Али хочешь к пустым стенам вернуться? Отец-то у тебя хоть и неуч, а тоже жизнь прожил. А жизнь, Васенька, штука мудреная: сегодня так, а завтра эдак. А я ко всему готов, и добро это места не пролежит».

Василий растерянно заморгал глазами, прислонился к косяку:

«Выходит, я за советскую власть агитирую, а отец развала колхоза ждет».

Вдруг он круто вскинул голову, шагнул к нему:

«Мне твоего барахла не надо! Слышишь? И ты сейчас же отвезешь это. А нет, ноги моей больше здесь не будет!»

Это уж было слишком! От отца, родного отца, отказываться... От отца, который вставал и ложился с думой о нем... Все потемнело в глазах у Степана Андреяновича. Не помня себя, он размахнулся и ударил сына по лицу...

Старик, уткнувшись головой в подушку, вдруг почувствовал, как горит его правая ладонь... Покачнулся Василий, прикрыл рукой глаза, но ни слова не сказал отцу...

А на другой день, не прожив и половины отпуска, уехал... Навсегда...

Долго лежал Степан Андреянович, распростершись на кровати, и все ему виделся Вася в белой рубашке, залитой красным светом вечернего солнца, слышались слова: «Мне твоего барахла не надо!...»

Вдруг старик вскочил на ноги, кинулся в сени.

Лестница, сенник... Жаром полыхнули медяшки в темном углу... – и топор врезался в хомутину...

– Дедко, опомнись! Дедко, не надо!

Степан Андреянович обернулся. От лестницы с протянутыми к нему руками бежал Егорша.

– Не подходи! Порешу!..

– Давай пореши. Мало тебе сына – внука загубить хочешь!..

Степан Андреянович вздрогнул, топор выпал у него из руки. Прямо на него, высокая, раскосмаченная, шла Макаровна, впервые за всю жизнь поднявшая голос на своего хозяина...

Глава четвертая

В воскресенье, с утра, Анфиса с тремя колхозницами переметывала у конюшни сено, которое еще с зимы было определено для посевной. Они уже кончали работу, когда из-за угла конюшни неожиданно вывернулась матерая, бельмастая на один глаз Марина-стрелеха, прозванная так за непомерную резвость своих ног. В молодости она приторговывала водкой из-под полы и нередко, угождая загулявшим мужикам, за один день оборачивалась до райцентра – километров семьдесят туда и обратно.

Поравнявшись с женками, Марина круто осадила себя, так что взметнувшиеся полы старой, засаленной шубы подняли сennую труху с земли.

– Бабоньки! – дурным голосом запрочитала она, хлопая себя по бедрам. – Что на свете делается... Степан с ума спятил...

– Как спятил?

– Спятил, говорю. Вот те бог, спятил. Своими глазами видела, – перекрестилась Марина. – Середь бела дня в сани впрягся, топает по дороге, как лешой... без шапки... У лавки лужа, дак он прямо в низких валенках... Страсть! А на возу-то навалено – самовары не самовары, тазы не тазы – так и блестит. Я это сдуру-то спрашиваю: «Куда путь держишь, Степан Андреевич?» А он хоть бы слово. Глазища в землю – да знай себе прет.

Стрелеха, отдышавшись, опустила на сани.

– Вот до чего война-то доводит. Каково на старости сына лишиться? А тут еще дичь ставровская, породка, сами знаете. Потихоньку-то с ума сходить не умеем...

Женки, ошеломленные, стояли не двигаясь, – кто с вилами, кто с граблями в руках. Анфиса еще вчера вечером узнала о страшной беде, свалившейся на голову стариков, но так и не выбралась к ним.

– Что, дурехи, вы стали? – вдруг закричала на баб Марина, вскакивая с саней. – Бежите к правлению.

И, не дав опомниться женкам, она первая, широко размахивая полами шубы, кинулась на дорогу...

Первое, что увидела Анфиса, – огромная толпа, запрудившая переулочек возле правления. Мокрый ветер трепал разноцветные платки женщин, задирали ушастые треухи стариков. А по дорогам и переулкам все бегут и бегут люди...

На высоком открытом крыльце с белыми перилами и балясинами тоже народ, а спереди во всей своей красе – Харитон Лихачев. Он что-то выкрикивал в толпу, кому-то отчаянно грозил красным кулаком, тыкал рукой вниз перед собой.

Совершенно сбита с толку, Анфиса стала проталкиваться к крыльцу, и тут до ее слуха долетели слова Лихачева:

– Это чистейший патриотизм, товарищи! На таких санках самому Семену Михайловичу Буденному по фронтам разъезжать!..

Наконец Анфиса выбралась в передние ряды. Что-то яркое, цветастое зарябило в глазах у нее. На грязной заледи у крыльца стояли легкие, маленькие, как игрушка, пошевни, доверху заваленные мохнатыми овчинами, а на них жаром горела праздничная, убранная медью сбруя. И как ни была Анфиса измучена и потрясена случившимся, она невольно загляделась на это чудо. Черные точеные полозья с подковками фигурно выгнуты на козлах; высокое сиденье – в узорчатой резьбе, стенка и задник расписаны муравой – будто ворох свежего сена шевелится на грязной заледи.

– И я так скажу, товарищи, – гремел Лихачев, – ежели уж такой старорежимный собственник начисто разоружился... – Лихачев крякнул от досады на свою оплошность, поправился: – Я так скажу: нету счета русской силы, и Гитлеру выйдет капут по всей форме! Понятно? – Он

сдвинул на затылок кубанку. – Ну а ежели в части международной обстановки, то союзнички наши...

– Степана Андреяновича...

– Просим...

Лихачев недовольно повел бровью, но отступил в сторону:

– Героя дня? Это можно.

Только теперь Анфиса увидела свата, которого до сих пор заслонял собой Лихачев. Короткий стон вырвался у нее из груди.

Буря не так корежит дерево в лесу... Голова заиндевела, – скажи, как ночь на морозе выстоял, руки висят...

«Да что же это они? Заморозят его...» – Анфиса чуть не расплакалась, заметив, что старик в одной рубахе. Не спуская с него глаз, она хотела податься вперед, накинуть на него свой ватник, но вокруг стало так тихо, что она невольно замерла на месте. Все услышали жаркий шепот нагнувшегося к старику Лихачева:

– Валяй, Ставров, говори, через что и как надумал такое дело. Да чтоб за душу хватало! Понятно?

Степан Андреянович вздрогнул, поднял голову. Медленно, тоскующими глазами обвел он людей, словно ища у них опровержения тому, что случилось. Но никто ничего не сказал ему. Женщины немо и тихо плакали. Анфиса, крепясь, закусилась концы платка.

Ветер пузырил пестрядинную рубаху на старике, шарил по раскрытой волосатой груди. Но он не чувствовал холода. Десятки глаз не мигая, сквозь слезы, смотрели на него, и в них было столько муки сострадания, что что-то внезапно дрогнуло и надломилось внутри него. Ему вдруг страшно стало за этих людей, с которыми прожита целая жизнь. Он шагнул вперед, поднял руку, словно стремясь оградить их от беды, но в эту минуту взгляд его упал на пошевни...

Дрогнула земля под копытами... Радужным вихрем взмыли, понеслись санки в темную даль, оставляя позади себя рассыпчатый звон малиновых колокольцев...

Степан Андреянович пошатнулся, прикрыл рукой глаза и, тяжело переставляя ноги в низких валенках, набухших водой, стал спускаться с крыльца.

Анфиса, на ходу расстегивая фуфайку, расталкивая людей, бросилась к свату, но какая-то женщина опередила ее, накинула на плечи старика свою шубу. Люди расступились перед Степаном Андреяновичем, и он медленно, опираясь на внука, сопровождаемый скорбными взглядами земляков, побрел на дорогу.

Толпа не расходилась. Над головами низко ползла рыхлая туча. Черная тень пала на людей, и еще ярче, как жаровня живых углей, вспыхнула медная сбруя на санках.

Лихачев, на все лады кляня про себя чертова старика, напустившего панику на народ, затравленно водил глазами.

Вдруг на крыльцо, бойко перебирая сапожками, взбежала раскрасневшаяся Настя.

– Мы с мамой... – звонко выкрикнула она, – мы с мамой решили внести в фонд нашей дорогой Красной Армии. Мы отдаем телку... И мама призывает всех старых колхозников, а я комсомольцев. Вот... – И Настя, так же быстро, как появилась, сбежала с крыльца.

– Раз такое дело... – воспрянул Лихачев, обрадованный неожиданным поворотом дела. – Кто следующий?

От дороги раздался взрыв хохота.

– Что такое? – заорал Лихачев, будто его окатили ушатом холодной воды.

– Да это Мальшняя! Ярку свою на победу ведет! – весело ответил кто-то и залился смехом.

С разных сторон посыпалось:

– Ну, теперь держись немец!

– Охо-хо-хо! Надумал...

– Он всю армию снабдит...

Меж тем Митенька Малышня уже подходил к крыльцу, петушиным голоском выкрикивал:

– Расступись, народ! Дай дорогу животному!

У воза Степана Андреяновича он остановился, неторопливо и деловито привязал к задку пошевной маленькую, тощую, как он сам, овцу, хорошо известную в Пекашине под именем Митенькиной ярки.

– Ты? – грозно уставился на него Лихачев.

– Я, – утвердительно кивнул Малышня и, не давая опомниться Лихачеву, повелительно, насколько это было возможно для него, сказал: – Принимай, председатель... Сдаю для Красной Армии всю свою живность.

В этот день до позднего вечера к правлению колхоза вели овец, несли овчины, полушубки. И как знать, может, стал бы Харитон Лихачев первым колхозным председателем в районе – в посрамление Проньки Фролова, но тут подкатили новые события...

Глава пятая

– Пропади оно пропадом. Вы как хошь, а с меня хватит...

Марфа Рёпишная с силой опрокинула плуг и, тяжело шлепая по мокрой, вязкой полевине, выбралась на промежек, где дотлевала прошлогодняя трава. Разрыв сапогом теплый пепел, она присела на корточки, протянула к золе заочневшие руки. Остальные пахари – Трофим Лобанов, Настя, Варвара и пожилая, в ушанке поверх суконной завязухи, Василиса – не заставили себя ждать. Кто начал обивать и очищать сапоги от земли, кто, приноравливаясь к Марфе, потянулся к травяному теплу.

Сиро, не грея, проглядывало из-за облаков солнце. Внизу, под откосом, глухо плескалась вода.

Пинега в этом году вышла из берегов. Затопило все подгорье: пожни¹², поля, огороды. Уцелела только узкая полоска горбылей у леса. А так – море разливанное, ни конца ни края. По мутной воде тащило бревна, коряги, вывороченные деревья с корневищами. Иногда проплывали постройки, по самую крышу сидевшие в воде, – не то сарая, не то бани. И во всем этом необъятном разливе воды лишь кое-где на холминах торчали островья с шапками прошлогоднего сена да выгибались, все в белой пене, ершистые верхушки ивняка. Время от времени из заречья, оттуда, где на красной щелье холодно сверкают развалины монастыря, доносился глухой, протяжный гул. Это, подточенные половодьем, срывались в реку камни и глиняные оползни. Оттуда же, с заречных озимей, возвещая о своем прибытии, никем не тревожимые (за другой ныне дичью гонялись охотнички), трезвонили гуси да изредка печально, как осенью, подавали свой голос журавли.

– Женки, гляньте-ко, – сказала Варвара, вытягиваясь на носках, – из района кто...

На пригорке показался невысокий, крупно шагающий человек в серой шинели, с сумкой через плечо.

– Эй! Далеко ли без хлебов? Приворачивай на перепутье! – замахала Варвара.

– Рука-то никак на перевязи, – заметила, подслеповато щурясь, Василиса.

Незнакомец, подойдя к людям, поздоровался, вытер ладонью запотевшее, страшно исхудалое лицо.

– Фу, черт, ну и дорожка.

Вид его всех озадачил. По шинели – военный, по серой фуражке с мягким козырьком – командированный. И что еще кинулось – живые, со смешинкой светло-карие глаза, с нескрываемым любопытством разглядывавшие их из-под большого влажного лба.

– Рука-то что? Не с войны случаем? – спросила сердобольная Василиса.

– С ней самой. С фронта, мамаша.

– С фронта?

Колхозники заново с неподдельным изумлением посмотрели на прохожего. Первый раз они видели живого фронтовика, человека, пришедшего из того, другого мира, где были их мужья, отцы, братья.

Женщины, опомнившись, бросились готовить место на санях для дорогого гостя. Настя постлала соломы.

– А с какого фронта? – нетерпеливо спросили незнакомца, едва тот опустился на сани и вытянул ноги в заляпанных грязью сапогах с широкими негнуцимся голенищами.

– С Ленинградского.

– Что? С Ленинградского? – подскочил Трофим. – Парня моего не видал? Белый, здоровый, на один глаз косит.

¹² Пожня – сенокосный луг.

– Ты хоть фамилию скажи, – рассмеялась Варвара. – А то – «белый, здоровый».
– Фамилия? – Трофим вытаращил глаза. – Фамилия известна. Максим Лобанов.
– Нет, не помню, – улыбнулся гость и начал доставать из кармана шинели кисет с обрывком газеты.

– Как вы одной рукой-то... – посочувствовала Василиса.
– Это, мамаша, дело нехитрое – могу и вам скрутить, – пошутил гость. Закуривайте, – предложил он Трофиму.

– Старой веры держимся, – буркнул Трофим.
– Ну-ко, Троша. – С других саней встала, жеманно улыбаясь. Варвара. – Чем дыму-то зря пропадать, дай лучше я понюхаю.

– Надумала, шалава, – сердито проворчал Трофим.
Варвара, подсаживаясь к фронтовику, игривым взглядом скользнула по его лицу, вздохнула:

– Бывало, своего все из избы гнала, табашником ругала, а нынче бы понюхала, да нет...
– Сказывай, дыму захотела, – раздался гулкий бас. – Смотри, Варуха: Терентий узнает, он тебе покажет дым.

Гость с удивлением посмотрел на молчавшую до сих пор женщину с угрюмым, некрасивым лицом. Была она необъятно широка в плечах и стане и на целую голову возвышалась над молоденькой девушкой с добрыми, открытыми глазами, как грибок-подросток прижавшейся к ней сбоку.

Марфа переняла его взгляд, недовольно сдвинула черные ершистые брови: «Что, не видал таких?»

А Варвара, ничуть не смутившись, самоуверенно отвечала:

– Уж я-то своего Терешеньку сумею улестить, только бы вернулся. Будьте спокойны, Марфа Павловна...

– Хватит тебе! – прикрикнул на нее Трофим. – Пасть раскрыла – не слышали... Правда-нет, в Ленинграде мор страшный?

Лицо гостя помрачнело. Карие, глубоко посаженные глаза стали углисто-черными.

– Зимой сто двадцать пять грамм на гражданского. Четверть фунта. Хоть гляди, хоть нюхай. Под снарядами, под бомбами. Холод, света нет... – Он глубоко затянулся, закашлялся. – Помню, зимой приехал я с фронта за снарядами на завод. Ад крошечный! Темень, крыша снарядом разворочена, ветер как на пустыре. А зима, сами знаете, какая была. Вижу, в одном углу лампешка чадит, рабочий у станка стоит – в шубе, голова тряпьем обмотана. Рукавицы снимет, подует на руки да снова за клещи. Ну подошел, смотрю. А у него, понимаете, лицо все обморожено, прямо как чугунное – места живого не сыщешь. Только одни глаза из-под очков поблескивают. Что, говорю, доживем, отец, до победы? А он посмотрел на меня да и говорит: «Надо. Я сегодня пятого – последнего в семье на кладбище отволоку...»

Далеко, в заречье, с глухим стоном сорвалась в воду глыба подмытой глины. Вокруг людей чернела выжженная земля. Ветер вздувал холодный пепел. Шумно отфыркиваясь, шарили мордами по промежку лошади. Василиса, ширкая носом, вытирала рукавицей глаза.

– Да, вот какие ленинградцы! – тихо сказал гость. – А вы, я вижу, не очень-то торопитесь с победой? Это с утра наработали? – указал он здоровой рукой на поле.

Под Марфой затрещали сани.

– И того бы не надо! Земля не отошла, холодом дышит – не чуешь?

– Экая ты, Марфушка... С тобой как с человеком, а ты как медведица. Да вы не бойтесь, – подмигнула Варвара гостю. – Это она на председателя...

– Понимаете, – вмешалась Настя, – председатель у нас Лихачев... Мы ему: подождать надо, земля не отошла, а он и слушать не хочет. Здешние поля, говорит, колом торчат у начальства, всю картину марают. Ну и выгнал, а пахать все равно нельзя.

– Так, так, – задумчиво сказал гость. – Ну, мне пора. Спасибо за беседу. Он улыбнулся глазами. – Встретимся еще.

– Мы тоже поедem, – решительно сказала Марфа. – Бабы, запрягайте лошадей.

Василиса уже вдогонку крикнула:

– Да вы сами-то чей, гостенька? Как вас звать-величать?

Человек в шинели обернулся:

– Лукашин. Иван Дмитриевич.

– Так, так, Иванушко... К родимой, значит, да к жене попадаешь? А из какой деревни? Фамилия-то ровно не здешняя.

Новый знакомый неожиданно и весело рассмеялся:

– Из райкома. На посевную к вам послан.

Женщины с немym изумлением переглянулись между собой.

– Вы уж нас не обессудьте! – опять вдогонку закричала Василиса. – Может, чего и лишнего наговорили...

На покато́й горюшке, перед самым спуском в низкую луговину, сплошь затопленную половодьем, Лукашина догнала молодая смазливая бабенка, игривый взгляд которой он чувствовал на себе во время недавней беседы с колхозниками.

– Коль уж вы бойко шагаете! Походочка фронтовая – я вся запышалась... Вы куда это направились? Вон теперь где переходы-то, – указала она на кусты слева. – Пинега раздичалась – страсть. Чужому человеку и ходу нет. Пойдемте. Уж коли я первая вас заприметила, я и выведу...

Варвара задорно подмигнула ему, слегка приподняла подол платья и свернула налево.

Лукашин, принаравливаясь к ее мелкому шагу, кивнул на реку:

– Что она у вас, всегда такая?

– Пинега-то? Раз в десять лет молодость вспоминает. А так, чего уж – не Черное море, – авторитетно заявила Варвара и сбоку посмотрела на него: учти, мол, и мы не какие-нибудь.

Вскоре она остановилась:

– Ну вот, на угорышек-то взойдете, там и переходы. А потом опять вправо изгородь будет, – повела она рукой, – все низом, низом, а там и косок – дорога в гору. Видите, вон человек-то на угоре... Да ведь это Степан Андреянович... – вдруг изумленно зашептала Варвара, качая головой. – Мы уж думали, карачун ему, две недели в рот не бирал, а он, вишь вот, ожил. Это он на реку взглянуть вышел.

За озеринной, на пекашинской горе, недалеко от огромного дерева с черными разлапистыми ветвями, стоял человек, опершись на палку. Издали невозможно было рассмотреть ни его лица, ни его одежды, но одно показалось Лукашину несомненным: это был рослый, крупный человек.

– Сына у него убили. Один сын был, и того убили, – вздохнула Варвара.

– Как вы сказали? Степан Андреянович? А фамилия не Ставров?

– Ставров. А вы откуда знаете? – удивилась Варвара.

– В газете читал. Это он сдал свое добро в фонд Красной Армии?

– Пошевни-то да дрожки? Он. А про меня уж в той газетке ничего не написано? – с неожиданным простодушием спросила Варвара. – Иняхины мы. Я тоже овцу сдала.

– Ва-ру-ха!.. – донесся злой, хриплый голос с поля.

– Эко пасть-то раскрыла. Без Варухи шагу не ступит, – рассердилась Варвара, но ответила с неизменной ласковостью: – Иду, иду, Марфинька...

Затем, обернувшись к Лукашину, она торопливо заговорила:

– Командировочные-то у нас всё больше у Марины-стрелехи останавливаются. Она из-под земли вино достанет. Ну а теперь вина нету, кто рад со старухой! С одним глазом, ничего не видит. Вы ко мне приходите.

– Ва-ру-ха!..

– Околей ты дале, иду. Могла бы и мою лошадь пригнать. – Варвара сделала несколько шагов и опять обернулась к Лукашину: – Да вы ко мне, ежели пожелаете... Летось¹³ учитель жил – ничего, не обижался...

Варвара засмеялась и, махнув красным подолом, скрылась за пригорком.

– Ну и ну... – улыбаясь, покачал головой Лукашин. Затем он еще раз посмотрел на одинокую фигуру, все так же неподвижно стоявшую на горе, и пошел к мосткам.

...Во дворе правления он увидел мужчину и женщину.

Они стояли на открытом крыльце и, судя по всему, о чем-то крупно спорили.

– Не страшай, не поеду! – выкрикнула женщина. – Сама не поеду и людям не велю.

– Ты что? Приказы не выполнять? – наседа на нее мужчина в кубанке с красным перекрестьем поверху. – Весну военную встречаешь?

– Здравствуйте, товарищи.

Мужчина и женщина разом обернулись.

– А, фронт... – приветливо разулбылил свое рябое лицо мужчина и, сойдя с крыльца, протянул Лукашину руку. – Домой? На побывку? В какую деревню? Минина! – резко обернулся он к женщине: – Выделить лошадь! Немедленно! Понятно?

Темные глаза женщины сузились:

– Нету у меня лошади! Заняты... – И она, злая, сердито раздувая ноздри, сбежала с крыльца.

– Видал, какой черт! Да, брат, кто с немцами, а я с бабьем воюю. Ну мы это дело обтяпаем. Лошадь будет.

Лукашин, задетый за живое неласковым приемом женщины, проводил ее взглядом до угла. Она шла размашистой, мужской походкой.

«С характером», – подумал он.

– Лошадь мне не надо. Я к вам из райкома.

Час спустя Лихачев, весь красный, выскочил из бухгалтерской в общую комнату.

– Ну, как международная обстановка? – полюбопытствовал Митенька Малышня, растапливавший печку.

Лихачев грохнул дверью.

¹³ Летось – прошлым летом!

Глава шестая

План Лукашина, когда он отправлялся в «Новый путь», был самый обыкновенный: вечером в тот же день собрать колхозников, рассказать о положении на фронте, а затем уже, после этой духовной зарядки, влезать в колхозные дела. Но головотяпское распоряжение Лихачева, о котором узнал он от колхозниц в поле, опрокинуло все его первоначальные намерения. Надо было, как говорится, сразу брать быка за рога.

Два дня Лукашин знакомился с колхозными делами: разговаривал с людьми, обошел скотные дворы и конюшни, побывал в кузнице. Творилось черт знает что! Сеялки не отремонтированы, плуги, как на слом, свалены в кучу под открытым небом у кузницы – ржавые, с прошлогодней землей на лемехах. С кормами и того хуже: прохлопали, не вывезли до распутицы с дальних речек. И все это в колхозе, о котором в райисполкоме с уверенностью говорят как о добротном середняке, не внушающем опасений за исход посевной. А председатель? Слова доброго о нем никто не сказал.

«Ну погоди у меня, – с бешенством думал Лукашин, – я тебе мозги вправлю!»

В нетопленном клубе – бывшей церкви с темными высокими сводами – холодно и мрачно. Единственная лампешка с выщербленным стеклом освещает лишь сцену. В глубине все еще хлопают двери, скрипят скамейки под рассаживающимися людьми. Шум, приглушенный кашель, пар от дыхания.

– Все староверки прикатили, – замечает Лихачев, наклоняясь к Лукашину. – А бывало, в этот самый храм божий на аркане не затащишь.

Федор Капитонович, непременный член президиума каждого собрания, налил в стакан воды, услужливо поставил перед Лукашиным.

Наконец Лихачев объявил:

– Доклад об международной обстановке, какая имеется на сегодняшний день, будет говорить товарищ Лукашин, бывший фронтовик, а ныне уполномоченный райкома ВКП(б). Только у меня тихо. Понятно? – строго добавил он, садясь.

Лукашин встал, скинул с плеч шинель.

Шум сразу пошел на убыль. В тусклых отсветах у сцены мелькнули знакомые лица: улыбающаяся Варвара в ярком, цветастом платке, игриво покачивающая ногой в новой калошке, Трофим Лобанов, Настя... А дальше – сплошная тьма, прорезаемая множеством сухих блестящих глаз, скрестившихся на нем. Эти глаза ощупывали, вопрошали его, ждали. И он знал, чего они ждут, чего хотят от него. Но чем взбодрить, окрылить их измученные, исстрадавшиеся души? Нету сейчас в жизни ничего, кроме бед и напастей.

Но по мере того как перед мысленным взором Лукашина начал вставать осажденный Ленинград, громадная, вся в зареве пожарищ страна, голос его окреп, накалился.

– Фронт сейчас через каждое сердце проходит, товарищи! Линия фронта сейчас у станка рабочего, на каждом колхозном поле. А как же иначе? Недодашь пуд хлеба – недоест рабочий, а недоест рабочий – значит, меньше танков и самолетов. – Лукашин весь подался вперед, взметнул руку. – Кому выгода? Гитлеру от этого выгода!

Мертвая тишина стояла в зале.

– А у вас что в «Новом пути»? – круто поставил вопрос Лукашин. – Хлеб прошлогодний сгноили под снегом? Так говорю?

– Так... – приглушенно ответили из темноты.

– А нынешнюю весну как встречаете? Посевной клин сокращать надумали? Это ваша помощь фронту?

– Вы с председателя спрашиваете! – прозвучал несмелый выкрик.

– Вот, вот! – на лету подхватил Лукашин и резко повернулся к Лихачеву: – Партия вам, товарищ Лихачев, ответственный участок поручила. А вы... черт знает что устраиваете! Втаптывать в грязь зерно – да это же преступление!

– Верно!.. Правильно!.. – взметнулись голоса.

– Дайте слово сказать! – в первом ряду поднялась какая-то женщина.

– Жена, жена, помолчи, – удерживал ее бритый, с длинным лицом старик.

– Отстань! Ты всю жизнь молчишь – что вымолчал? Еще Мудрым прозываешься.

В ответ ей горохом рассыпался смех.

– Над чем это? – недоумевая спросил Лукашин, подсаживаясь к Федору Капитоновичу.

– Баловство наше... Софрон Игнатьевич до сорока лет холостяком жил, а тут взял да женился на молодой. Ну Мудрым и окрестили.

– Крой, Дарка, не бойся!

– И не боюсь, бабы! – разошлась Дарья. – У меня два сына на войне, да чтобы я боялась... Старшой-то, Алексей, в каждом письме спрашивает: как да что в колхозе, дорогие родители? А у нас хоть издохни на поле – все без толку. Как зачал ты, Харитон Иванович, подпруги подтягивать – дак чуру не знаешь. Бригадиров по номерам кличешь, а мы лошадей по имени зовем. А нашего брата, бабу, и вовсе за человека не считаешь... А где это слыхано, чтобы в мокреть пахать? Или мы до тебя не жили? Весь век соху из рук не выпускаем и с голоду не помирали. Ты об этом подумал?

– Слышишь? – бросил Лихачеву Лукашин. Он был очень доволен, что так вот сразу удалось вызвать на деловой разговор колхозниц.

Лихачев вскинул голову, рывком встал:

– Вы что, против партии? Тыл подрывать?

Невообразимый шум поднялся в клубе:

– Ты нас партией не стращай!

– Мы сами партия!

– Она, партия-то, так велит разговаривать с народом?

– Верно... как в другом Сэсэрэ живем...

– Дура... нету другого Сэсэрэ...

– Тише вы, очумели! – возвысил голос Федор Капитонович. – Глотку давно не драли.

– Не хотим тише!

– Громче, бабы!

– Это они в темноте наживаются, горло дерут... – зашептал, оправдываясь, Лихачев на ухо Лукашину. – А на свету ни одна не пикнет.

Лукашин встал:

– Базар, товарищи, нечего устраивать. Надо по-деловому, с пользой критиковать.

– А мы без критики – так скажем...

– Чего Харитона укрываете? – раскатисто бухнула из глубины зала Марфа Репишная.

Женщины будто этого и ждали – повскакали с мест, завопили:

– Не хотим Лихачева!

– Будет, натерпелись!

– Нам бы председателем-то с орденом который! – звонко выкрикнула Варвара и, мечтательно скосив горячий глаз на грудь Лукашина, подмигнула ему, как старому знакомому.

В лампе металось пламя, гул перекатывался под сводами старой церкви. Лукашин, вглядываясь в разъяренных, размахивающих руками женщин, струхнул. Нет, он этого не хотел. Райком его на это не уполномочивал. Он вспомнил слова заврайзо: «Анархии в колхозе много. Лихачев немного подтянул, но еще недостаточно. Помогите. Старый, опытный кадр. Номенклатура райкома...» И тут в один миг представились Лукашину все непоправимые последствия его непродуманной, через край хлестнувшей критики: срыв сева, невыполнение плана...

Он схватил пробку от графина, яростно застучал по столу:

– Товарищи, товарищи! Сейчас не время менять председателя. Вот сев кончим – ставьте тогда вопрос. Кто же это в бою командира меняет?

Последние слова его потонули в новых выкриках:

– Он к тем порам нас по миру пустит!

– Некем командовать будет!

На помощь Лукашину поспешил Федор Капитонович:

– Постыдились бы серость свою показывать. Товарищ с фронта... Без отчета разве сымают?

– А-а-а, ты Харитона защищать?

– Ему что, девки дома – сердце не болит...

Федор Капитонович поморщился, развел руками:

– Ну и народ, совсем образ потерял...

Дальше собрание пошло как воз под гору. На сцену вихрем взлетела раскрасневшаяся Настя Гаврилина:

– Я бы вот что сказала... Я бы в председатели Анфису Петровну... Она людей на дела поднимать умеет. Помните, как с навозом вышло? В общем, я и мы, комсомольцы, за Анфису Петровну!

Несколько секунд зал молчал – до того неожиданным было это предложение.

Лукашин первый пришел в себя:

– Товарищи, горячку в таком деле пороть нельзя. Надо все взвесить, с райкомом посоветоваться.

Его поддержал Федор Капитонович:

– Разревелись! Порядков не знаете. Когда это без резолюции...

– Черт-те в твоей резолюции! Она по немцу не стреляет!

– Анфису... Анфису Петровну!

Из глубины зала донеслись возня, шум, рокочущий уговаривающий басок Марфы:

– Чего ерепенишься? Народ просит.

– Уважь, уважь, Анфисьюшка! Не убудет тебя... – поддержали женские голоса.

Трофим Лобанов сердито тряхнул головой, сплюнул:

– Бабу в председатели... Штаны не найдутся?

– Может, твои, Трофимушко? – поддела его Варвара.

– Ты не больно... – ошетинился Трофим. – У Трохи три штыка на фронте!

Хохот, перебранка, выкрики:

– Выходи, выходи, Анфисьюшка! Покажись...

Лукашин, нервно кусая губы, всматривался, вслушивался в гудящий, взбудораженный зал, потом махнул на все рукой. Какого лешего? Пускай делают как знают. В конце концов кто тут власть? Кто хозяева? Неужто сами себе зла хотят? И почему это, – спорил он с невидимым противником, – почему это он, приезжий человек, прав, а весь народ ошибается?..

Но когда он увидел сбоку от себя Анфису – ее буквально силой вытолкали на сцену, – сердце его опять упало. Ну, кажется, наломали дров!.. На нее было жалко взглянуть. Она была не то что растеряна, а как-то вся перепугана, пришиблена; бледное лицо в красных пятнах...

Но, странно, растерянность и робость Анфисы пришлись собранию по нраву. Это чувствовалось и в тех ласковых и любопытных взглядах, которыми рассматривали ее притихшие женщины (словно не видали раньше), и в тех приглушенных словах, которыми обменивались в зале:

– Разалелась, как девка на смотринах.

– Ничего, ничего, пущай...

Прошло, наверно, минуты две, пока Анфиса немного овладела собой:

– Я не знаю, женки... вы с ума посходили. Какой из меня председатель? Три зимы в школу ходила...

– Ничего, Харитон больно востер.

– Я и говорить-то не умею...

– Вот и ладно – нам Харитоновых речей на десять лет хватит.

– Берись, берись, Анфисьюшка... все Харитона хуже не будешь...

– А что робеешь – стыда нету. Знаешь, на какое дело идешь...

– Да ты присядь, Петровна, ноженьки-то не казенны. Сколько с утра выходили.

– К красному столу, ко свету! – подхватили голоса.

Лукашин поискал глазами на сцене стул.

– Харитон давно сидит! – вдруг взвизгнула, давясь от смеха, какая-то бойкая бабенка.

– Вер-р-но-о-о! Хватит, посидел.

Лихачев до хруста стиснул зубы, выпрямился:

– Понятно... Советская власть не нравится?..

– Ты с ума сошел! – Лукашин рванул его за полу ватника. – Как с народом говоришь?

Лихачев круто повернулся:

– Я-то говорю как надо. А вот ты в чью дудку? С тобой еще потолкуют! Народ разлагаеть!.. – разъяренно зашептал он.

– Ты?.. Ты угрожать? Да знаешь, что с такими командирами на фронте делали?

Внизу шум, крики:

– Не чуем!

– Громче!

Лихачев медленно сошел со сцены и, прямой, не сгибая головы, весь в скрипящих ремнях, двинулся к выходу. В мертвой тишине, отдаваясь под сводами, угрожающе прозвучали его шаги.

Грохнули двери, скрипнули половицы в коридоре.

Вздых облегчения прошел по залу.

После голосования быстро и споро начали решать неотложные дела. Федор Капитонович, выказывая давнишнюю административную сноровку, умело ставил вопрос за вопросом.

Постановили: пахоту начать выборочно, не ожидая, когда обсохнет весь массив, в поле выезжать не позже четырех утра.

Затем одна пожилая колхозница несмело предложила:

– Какая мука в кладовой колхозной – раздать бы в счет трудодней, все веселей...

Приняли и это предложение.

Лукашин слушал невнимательно, нервничал. Он чувствовал шумное, напряженное дыхание сидевшей рядом с ним Анфисы, и прежние сомнения подымались в его душе. Как посмотрят в райкоме? Ни с кем не согласовал – пришел, наломал дров! Положим, этого кавалериста давно пора гнать, да разве так подбирают кадры?..

Не поворачивая головы, он скосил глаз в сторону Анфисы. Прищуренные глаза уперлись в стол, щека полыхает румянцем. Но когда он увидел тонкую, в упрямом изгибе шею и над ней тяжелый, туго закрученный узел черных волос, он вздохнул легче. Ему припомнилась первая встреча с этой женщиной во дворе правления колхоза...

Потом обсуждался вопрос о кузнице. На сцену, не торопясь, с чувством собственного достоинства, вышел Николаша Семьин – узкоплечий золотушный парень, в хромовых, до блеска начищенных сапогах, при галстукке.

В Пекашине его больше звали «специалист по тонкой работе». Починить замок, приделать какую-нибудь дужку к ведру, выковать из напильника ножик – это он еще кое-как мог, а вот там, где надо было орудовать кувалдой, Николаша только руками разводил: «Черная работа – не моя специальность».

Впрочем, в колхозе его любили. Как-никак свой кузнец – в других колхозах и таких нет, да и хоть по видимости, а все-таки мужчина.

Николаша с важностью, какую давало ему сознание собственной незаменимости, начал так:

– Как я специалист по тонкой работе, то махать молотом мне несподручно. Прошу выделить в мое распоряжение физическую силу.

– Это какую такую силу тебе, Николай? – не без ехидства полюбопытствовала Варвара.

– Ежели так, по-нашему сказать, то это такая, какая будет махать молотом по моим указаниям. Иначе – баба здоровая.

По залу прошелестел легкий смешок. Лукашин тоже – первый раз – от души рассмеялся.

– Так бы и говорил...

– Марфу Репишную! Кто же здоровше Марфы?

– Да я всю кузню разнесу!.. – вздыбилась Марфа.

Но, как ни упиралась она, порешили: работать Марфе в кузнице.

После этого вопросы и предложения посыпались со всех сторон. Однако было уже поздно, лампа из-за недостатка керосина чадила, потрескивая фитилем, и Федор Капитонович, напутствуя: «Словом-то из пушек не стреляют... Работать надо...» – закрыл собрание.

Глава седьмая

Старинные, с облепленным циферблатом ходики, висевшие в общей комнате, показывали половину четвертого. Светало.

Анфиса медленно подошла к председательскому столу и, не раздеваясь, присела на табуретку. С чего начать?.. За что приняться?.. Ей смутно припоминались какие-то главные звенья, о которых после собрания говорил Лукашин. Дома, ни на секунду не сомкнув глаз, она всю ночь продумала об этих самых звеньях. И выходило – все, чего ни коснись, главные звенья. И хлеба нет, и корм на исходе, и людей нет... Бывало, об эту пору сев кончали, а ныне весна шла тяжелая, холодная – хуже всякой осени.

– Ох, горе горькое... – вздохнула она и тупо посмотрела перед собой. На самой середине стола возвышалась большая грязная, с выщербленными краями тарелка, доверху заваленная окурками.

– Нет уж, хватит, Харитон Иванович! – вдруг ожесточилась Анфиса.

Она схватила лихачевскую пепельницу и швырнула ее в печку. Потом, все еще рассерженная, оглядела контору. Пол затоптан, засандален, будто век не мыт, у дверей в углу мусор прикрыт обтрепавшимся веником. А на стенах что делается! И табачников-то поискать сейчас, а газеты со стены лоскутьями выдраны – все на те же проклятушки сосульки.

Она широко распахнула двери, открыла форточку. Свежий, холодный сквозняк рванулся в комнату. Потом скинула с себя ватник, подоткнула подол, закатала рукава кофты и, отыскав на кухне ведра, сходилась за водой к колодцу.

Час спустя, отирая пот с лица, она окинула глазом свежевывмытый пол и, как-то сразу повеселев, сказала:

– Ну вот, так-то лучше.

Но только она присела на табуретку – за спиной залиvisto задрожал звонок. Она растерянно посмотрела на блестящий, пляшущий шарик, беспомощно оглянулась – в конторе она была одна. А звонок заливался, все настойчивее и требовательнее. Вот наказание-то! Ей ни разу в жизни не приходилось разговаривать по телефону. И кому только в этакую рань не спится?..

Наконец она решилась – со страхом, замороженными глазами глядя на пляшущий шарик, подошла к телефону, сняла трубку. Лопочущий треск, шум. Ей сразу стало жарко. Вот горе-то какое... И уши есть, да, видно, не те. Затем она догадалась стянуть с головы плат. Теперь уже стала угадываться человеческая речь.

– Кто там? – тихо спросила Анфиса.

– Это «Новый путь»? – вдруг совсем рядом спросил охрипший женский голос.

– «Новый путь»...

– Дрыхнете, бессовестные! Вы эти мне порядочки бросьте! Я кричу, кричу, что у меня, глотка казенная?

Анфиса пыталась что-то сказать, но сердитая девица строго оборвала:

– Не оправдывайтесь! Знаем вас – не первый год! С вами сейчас из райкома говорить будут... – и в трубке шелкнуло.

Прошло, наверно, минуты две, которые показались ей целой вечностью. Она стояла, не смея пошевелиться, и до ломоты в голове вслушивалась, сжимала в руке напотевшую трубку. Потом уже не выдержала, позвала:

– Райком...

– Я – райком! – неожиданно раздался крепкий басистый голос. – Кто со мной говорит?

– Да это так... из «Нового пути»... – опять оробела Анфиса.

На какую-то секунду в трубке смолкло.

– А я ведь вас угадал! – весело и довольно рассмеялся только что говоривший с ней мужчина. – Анфиса Петровна?

– Да...

– Здравствуйте, товарищ Минина! С вами говорит секретарь райкома Новожилов.

– Здравствуйте, товарищ секретарь. Как же вы меня узнали?.. – искренне удивилась Анфиса.

– Очень просто. Кому же не спится по утрам, как не новому председателю? Верно говорю? Мне еще ночью звонил Лукашин. Кстати, он ушел в Водяны, не знаете?

– Нету здесь...

– Беда у нас с Водянами... затопило... – с горечью сказал Новожилов. – Ну а как вы себя чувствуете на новом месте?

– Сама не знаю как...

– Ну так я скажу. Отлично чувствуете!

– Это почему же? – снова удивилась Анфиса.

– Дела от Лихачева приняли?

– Нет еще... когда...

– Вот видите, а уже на ногах. Значит, душа болит, беспокоитесь. А это главное!

Новожилов спрашивал о готовности к севу, требовал немедленного выезда в поле, интересовался настроением людей, запасами хлеба в колхозе. Она что-то отвечала, кричала в трубку, когда он переспрашивал, – как в тумане...

После разговора с секретарем самые противоположные чувства охватили Анфису. Это был первый человек, с которым она говорила как председатель. Ей было радостно, что секретарь райкома так просто и приветливо разговаривал с нею, и в то же время страх подкатывал: только теперь она поняла, всем сердцем почувствовала, какой груз взвалили ей на плечи. С этого дня она, малограмотная баба, в ответе за весь колхоз, за целую деревню...

Занятая этими мыслями, она и не слышала, как в контору вошел Федор Капитонович.

– Вот как мы, уже хлопочем! – радостно заговорил он с порога, поощряя ее усердие всем своим видом.

Федор Капитонович был в праздничном пиджаке, в кожаной фуражке, которую он обычно надевал в торжественных случаях, в добротных сапогах, жирно смазанных дегтем. Его маленькое сморщенное личико, обметанное реденькой колючей щетиной, неподдельно сияло.

«Чего это он сегодня? Радость какая?» – подумала Анфиса.

Поздоровавшись за руку – и это тоже удивило ее, – он степенно сел на деревянный некрашенный диван, снял фуражку.

– Ну, слава богу, и у нас как у людей... – Федор Капитонович достал пестрый платок, вытер лысину. – Я уж говорю бабе своей: вот, Матрена, и мы дождалась праздника! А то ведь с этим Харитошкой беда! Истинно сказали вчера колхозники: пустил бы по миру и глазом не моргнул...

Анфисе ли было выгораживать Лихачева, но слова Федора Капитоновича покоробили ее.

– А пустой и был человек... – продолжал Федор Капитонович. – Жалеть нечего. У самого царя в голове нету – хоть бы умных людей слушал...

– Ну тебя-то он слушал – грех обижаться.

– Да ведь как слушал? Я ему, бывало, так и эдак. А он все свое... Знамя? Да ты сперва о колхозе радей! – вознегодовал Федор Капитонович. – А знамя что – не уйдет, по заслугам и награда...

Успокаиваясь, он вынул кисет, свернул сигарку, выбил кресалом искру. Едуче запахло самосадам. Анфису всю так и передернуло, но она сдержалась.

Федор Капитонович затянулся, пошарил глазами по столу, по подоконнику и, не найдя посуды, страхнул пепел на ладонь. Вместе с пеплом от сигарки отвалился красный уголек,

но рука Федора Капитоновича даже не дрогнула. Это так удивило Анфису, что она невольно и с каким-то безотчетным страхом взглянула ему в лицо. Сквозь волны сизого дыма на нее по-прежнему ласково и умиленно смотрели маленькие слезливые глазки. Тогда она снова перевела взгляд на руку. Большущий, согнутый, как крюк, палец, дожелта прокуренный. Потом она разглядела и всю руку – каменно-тяжелую, жилистую, с задубевшей кожей на ладони.

«О господи, вот дак ручища», – подумала Анфиса, окидывая глазами щуплую фигуру Федора Капитоновича.

Оправившись от изумления, она спросила:

– Когда думаешь в поле выезжать?

– Да ведь когда... Ежели, скажем, к примеру...

– На Широком холму обсохло. Начинать надо.

Федор Капитонович внимательно посмотрел на нее и вдруг с готовностью воскликнул:

– Это уж бесприменно! Я завтра пробный выезд хочу сделать. С тем и пришел...

– Вот и ладно, – сразу подобрела Анфиса, а про себя подумала: «Может, и зря о нем худо думаю?»

И Федор Капитонович, словно желая рассеять остатки ее сомнений, строго добавил:

– Да ведь как же! Война – понимать надо!

Потом, зажимая в руке окурок, глянул под стол:

– Смотрю, в башмаках. От форсу аль по нужде?

– Какое от форсу... – застеснялась Анфиса, подбирая ноги. – У старых сапоженок союзки обносились. Уже теленка сдам – дадут кожи...

– Да ведь теленка когда сдашь, а без сапог... Оно, конечно, председательская работа чистая, а все же разъезды, то, се. Нет, председателю бесприменно сапоги надо! – убежденно сказал Федор Капитонович.

Лицо его вдруг приняло озабоченное выражение.

– Что же нам с тобой делать-то, Петровна, а? Разве что... – начал размышлять он вслух. – Ну да! Ты вот что, приноси свои сапожонки. У меня где-то союзки валялись. Ночь посижу, к утру сработаю.

– Что ты, Федор Капитонович, я уж как-нибудь выкручусь. А союзки тебе самому сгодятся...

– И не говори, и слушать не хочу! – рассердился Федор Капитонович. Плачь, да выручай. На этом свет держится. Об этом и партия учит...

Растроганная до глубины души, Анфиса не знала, как и благодарить:

– Ну спасибо тебе, Федор Капитонович. Ты меня так... так выручишь... Там и союзки-то небольшие надо. А я уж тебе, теленка вот сдам...

– Пустое говоришь, – опять строго оборвал Федор Капитонович. Затем, почесав затылок, как бы между прочим, добавил: – А ты мне хоть пудишко на первый случай... Больше не прошу... Сам знаю – война...

Анфиса непонимающе уставилась на него.

– Мучки, говорю, со склада. До краю дожил. – И, видя, что председатель растерянно шарит по столу руками, Федор Капитонович подsunул ей бог знает откуда взявшийся листок бумаги. – Не ищи, знаю, что дела еще не приняла...

– Да я не знаю... – замялась Анфиса. – Муки на складе званье одно... А ты хозяин исправный, – она натужно улыбнулась, – проживешь...

– Эка ты, – недовольно поморщился Федор Капитонович. – По моим сусекам не мела... Да я что, задаром? Нет, ты мне в счет трудодней, по всем законам. Опять же – как на вчерашнем собрание постановлено? Забыла? Нет, Петровна, – внушительно поднял палец Федор Капитонович. – Супротив народа не советую. Харитон супротивничал – знаешь, что вышло?

Кровь бросилась в лицо Анфисе. Она немигающими глазами смотрела на этот желтый не сгибающийся, как крюк, палец, и вдруг страшная догадка озарила ее.

– Да ведь ты... – прерывисто задыхалась она. – Ты... что же это?.. Сапогами хотел купить? Люди с голоду пухнут, а ты... – Ей не хватало воздуха.

Федор Капитонович поджал губы, встал.

– Голова-то думать дадена, а не то чтобы всякое пустое, – строго и назидательно сказал он и, всем своим видом показывая, до какой степени он оскорблен, пошел к двери.

– Анфиса, Анфиса! – в контору, едва не сбив с ног Федора Капитоновича, вбежала рас-трепанная, насмерть перепуганная доярка Марья. – Корова поддыхает...

– Что?..

– Корова, говорю, поддыхает... Да иди ты, бога ради...

Марья, всхлипывая, схватила Анфису за рукав, потянула из-за стола.

Глава восьмая

Лукашин был страшно зол. Хозяйка (он-таки не избежал участи всех командировочных – остановился у Марины-стрелехи) разбудила в восьмом часу. Пожалела. Этака дубина стое-росова!..

Утро было холодное, ветреное. Из труб валил дым, зябко прижимался к тесовым, белым от инея крышам. Сапоги, как колодки, стучали по еще не оттаявшей с ночи дороге. Навстречу ему попадались школьники, останавливались, молча провожали его не по-детски серьезными, вопрошающими глазами.

Ну ясно! Куда это ты, дядя, торопишься? Не успел заявиться и уже лыжи наострил! А что подумает Минина? Это же никуда не годится. Вчера, после собрания, бог знает какой ерунды наговорил. Рассуждал о предвидении, о каких-то главных звеньях. Прямо как пономарь!

Он подумал было, не заскочить ли на минутку в правление, сказать, по крайней мере, что и как. Но ему опять вспомнился ночной разговор по телефону, и он зашагал быстрее. Секретарь райкома Новожилов через каждые два слова с надрывом кричал: «Ты меня понял? Ты меня понял? Немедленно в Водяны...» Хорошо, что хоть на снятие Лихачева реагировал спокойно. Наверно, не все понял – слышимость была отвратительная, а может быть, и понял, да все дело в наводнении.

В верхнем конце Пекашина Лукашин был впервые, и, как ни нервничал он сейчас, глаза его зорко присматривались к окружающему.

Все те же дома, то одноэтажные, то – изредка – двухэтажные, но обязательно с огромными крытыми дворами и поветями¹⁴. Голые огороды – картофельники, устланные старыми, как плети, побелевшими стеблями. Часто попадались нежилые избы с заколоченными окошками, с выбитыми стеклами. Ветер со свистом хозяйничал в них, как на погосте. Передки у многих старых домов разломаны на дрова. Кое-где виднелись свежие разрезы бревен. Видно, вошло уже в привычку; оторвет хозяйка чурку, и дальше. И на протяжении целого километра ни одной новой постройки, поставленной в последние годы.

«Ох, и какая же работа предстоит после войны! – думал Лукашин. – Деревню заново отстраивать придется».

Спускаясь с пекашинской горы, он поднял воротник шинели, чтобы заслонить лицо от колючего ветра. Когда он перебрался через вспененную, яростно клокодавщую Синельгу и вошел в лес, высокий розовый сосняк, – сразу потеплело. Ветра здесь не было, только в верхушках, позлащенных солнцем, слегка пошумливало и охало да изредка раздавался глухой, надтреснутый скрип дерева.

За первым же поворотом песчаной, присыпанной старой, порыжевшей хвоей дороги, по которой еще не пролегла ни одна свежая колея, Лукашин увидел женщину. Низко нагнувшись к земле, она ползала между соснами, недалеко от дороги, и не то высматривала что-то, не то собирала. Из-под красного вздернутого платья выглядывали пестрые чулки, белые подвязки перехватывали их ниже колена.

– Эй, хозяйка, где тут дорога на Водяны?

Ему совсем незачем было спрашивать об этом, потому что Марина-стрелеха обстоятельно растолковала, как идти, и он сделал это машинально, как сделал бы всякий человек, впервые очутившись в незнакомых местах.

Женщина обернулась, и он узнал в ней Варвару Иняхину.

Она не спеша обтерла руки о платье, улыбнулась:

¹⁴ Поветь – верхняя часть над хозяйственным двором, сеновал, сенник.

– А чего вы не видали в Водянах?

Лукашин подошел к ней:

– Беда там. Наводнение.

– Ну, им не привыкать, – без всякого сочувствия сказала Варвара. – Кажинный год топит. Сели бы еще в реку, дак и вовсе бы из воды не вылезали. Ей-богу, так, – заверила она его, перехватив вопросительный взгляд. – Малый ребенок знает – на горе строиться надо, а эти водари бессовестные расселись на бережку. Чтобы в одной руке травина, в другой рыбина. А как вода-то в деревню зайдет – им тут самое житье. Худо ли? Ена к самому крылечушку подплыла...

Воздав должное жителям Водян, с которыми у нее, очевидно, были старые счеты, Варвара опять беззаботно заулыбалась. Утреннее неяркое солнце скользило по ее смуглому красивому лицу, кокетливо обвязанному пестрым, легким, не по погоде, платком. Она слегка шурила карие плутоватые глаза и, медленно водя кончиком языка по румяным губам, не мешала ему разглядывать себя. И, кажется, нарочно, чтобы он обратил внимание и на другие ее достоинства, легонько качнула бедрами.

Лукашин потянулся здоровой рукой к белому мху, наваленному вокруг сосны.

– Куда это вам мох?

– А коровушка-то? Воздухом еще не научена питаться...

Какое-то глухое беспокойство ворохнулось в душе Лукашина, но Варвара, уже расстилая мох, приглашала:

– Чего стоять-то? Покурите немножко. Я страсть люблю, как дымком пахнет...

Ему, однако, было не до куренья. Едва сели, Варвара запросто, как будто его не было, приподняла над коленом подол платья, оттянула вниз пестрый чулок и, потирая руками под коленкой, пожаловалась:

– Резинка туга, вот как натерло...

Но в ту же минуту она резко натянула на колено подол, стыдливо потупилась:

– Вот срам какой... Год еще поживешь без мужиков – забудешь, что ты и женка...

И хотя Лукашин понимал, что все это – и подвязка, и эта наигранная стыдливость – дешевые приемы не раз уже, вероятно, применявшегося соблазна, но именно это еще больше распалило его воображение. И Варвара, словно подзадоривая его, расстегнула ватник, маняще приоткрыла маленькую, туго обтянутую красным ситцем грудь.

«Нет, нет! – говорил себе Лукашин. – Только не сейчас. А то черт знает что. В первый день и... Хорош уполномоченный!..»

Он резко вскинул голову, не своим, хриплым голосом спросил:

– Что за человек эта Минина?

Варвара с явным замешательством и неудовольствием посмотрела на него, нужна, мол, сейчас тебе эта Минина – и ответила с некоторым раздражением:

– Анфиса-то? При живом муже монастырь устроила.

Однако, заметив отчужденность во взгляде Лукашина, она смирилась и со свойственной ей обстоятельностью начала разъяснять:

– Я еще девчушкой была, как ее замуж выдавали. Все за столом как люди пьяные да веселые, а она одна как на похоронах. Бледная, ни кровинки в лице. Мне лет девять, видно, было, босиком еще бегала, а я уж все понимала, – не без гордости заметила Варвара о своей ранней опытности. – Бабы шепчутся: «Невесела невестушка», – а какое ей веселье, когда тошнит... Григорий-то у нее не промах, никому спуску не давал. Сам из себя видный, красивый...

В словах Варвары Лукашину почудилось нечто большее, чем простое, бескорыстное восхищение мужем Анфисы, и он, вдруг почувствовав себя оскорбленным, нетерпеливо оборвал ее:

– Да я не об этом. Что за человек эта Минина?

Варвара с удивлением выгнула бровь.

– Ну, по-вашему, председатель она... как?

– А-а, вот вы о чем, – поняла наконец Варвара. – Тут тужить не об чем. Всяко Харитона хуже не будет. Она ведь какая, Анфиса-то? Села за свадебный стол Анфиской, а вышла Анфисой Петровной. Вправду, вправду, – закивала Варвара, видимо очень довольная произведенным эффектом. – До свадьбы-то Фиска Фиской, рот тоже, как у меня, не закрывался, а тут поставила себя, важность напустила – Богородица на землю сошла. Матушка мне, бывало, когда я стала в девки выходить, покою не давала, только и тыкала: «Варка, смотри на Анфису, Варка, примечай за Анфисой». А чего примечать? Вся в темном, как монашка. В жару, бывало, на сенокосе, разомлеешь – рада до воды добратся. Мужики ли, парни – бух в воду, всем-то еще веселее. Смотрите на здоровье, не украдено. А эта – ни за что. Как будто у нее там серебро навешано, сглазить себя не даст... Ну слушаю, слушаю я свою матушку, когда она меня Анфисой-то наставляет, – снова повернула Варвара на свою привычную дорожку, – а сама думаю: «Нет, ладно, святых-то на небе хватает. Мне, грешнице, и на земле не худо...» Да вы куда? – вдруг с беспокойством спросила она, увидев, что Лукашин встает.

– Пора...

Варвара нехотя поднялась вслед за ним. Она не скрывала своего разочарования. Лицо ее вытянулось, в глазах на мгновение мелькнула не то досада, не то презрение, но в следующую секунду они уже снова играли многообещающей улыбкой. Ничто не могло надолго омрачить ее душеньку. Ее и война-то, казалось, обошла стороной, да Варвара и сама, как видно, не очень-то интересовалась ею, не лезла, подобно другим, с дотошными расспросами.

Она стояла перед ним молодая, свежая, зазывно и в то же время смиренно глядя ему в глаза.

Он, как пьяный, боясь оглянуться назад, побрел на дорогу.

– Пойдете обратно, приворачивайте. Домик-то мой светленький видали в верхнем конце? – напутствовала его Варвара.

Мало-помалу быстрая ходьба вернула ему душевное равновесие, и он, вспоминая о встрече с Варварой, уже с издевкой и сожалением думал над своими опасениями.

Пригревало солнце. Пахло смолой.

Вскоре потянулась старая, заброшенная подсочка. Удивительное, сказочное зрелище! Сосны в белых рубашках! Да, по обеим сторонам дороги широким частоколом бежали высокие, стройные, как свечи, сосны, у которых до самой макушки с одного боку была соскоблена кора. Тоненькие сахарные натеки засохшей серы узорами вились по белым стволам.

Радостный и возбужденный, каким он давно уже не чувствовал себя, Лукашин легко и свободно шагал по лесной дороге и не раз мысленно удивлялся: кто бы мог подумать, что так вот запросто – и в какое время! – он будет вымерять дороги этого глухого, таежного края, за тысячи километров удаленного от фронта? И многое, многое, пережитое за последние месяцы, припомнилось ему. Эвакуация из Ленинграда, теплушки, госпитали, окружная комиссия в Архангельске...

Что делать? Куда приткнуться на несколько месяцев, пока поправится рука? На родную Смоленщину дороги нет...

В обкоме партии ему предложили на выбор: работу в аппарате или на периферии. Лукашин, не задумываясь, в самую распутицу поехал в один из отдаленнейших районов области, расположенный в верховьях Пинеги. И погнала его туда неумная, с детства вкоренившаяся страсть к путешествиям, к новым местам, к новым людям. Бывало, начитавшись разных книг, которыми щедро снабжал его деревенский учитель, – о следопытах, об отважных и дерзких землепроходцах, о таежниках, – он во сне и наяву грезил их необыкновенными приключениями и сам мечтал о подвигах. Но жизнь рассудила иначе. В скорбном двадцать четвертом году двадцатилетнего Ванюшку-лобастика, как прозвала его родная деревенская комсо-

молия, направили учиться. Потом опять деревня – избач, секретарь партячейки, инструктор райкома...

Но беспокойное сердце Лукашина давало себя знать и здесь. Он никак не мог усидеть на одном месте и, как бы оправдываясь перед своей совестью и товарищами, в шутку говорил, что ему от рождения прописан кочевой режим.

В райком партии он приехал вечером. Секретарь райкома встретил его с радостью:

«У нас сейчас кончается пленум райкома. Людям уезжать надо. А послушать свежего человека, да еще фронтовика, им во как полезно! Можешь?»

«Могу», – ответил Лукашин, хлюпая в сапоге водой, набравшейся при переправе через разлившуюся речонку.

После этого он в течение недели выступал с докладами в районном клубе, окрестных деревнях, а потом напросился уполномоченным на посевную.

...Лукашин посмотрел на часы. Уже два часа, как он в дороге. Он покосился на сумку, в которой лежал кусок мягкого хлеба, стыдливо посмотрел вокруг. Хоть и плотно подзакусил он у своей хозяйки, но блокада все еще сказывалась: его постоянно тянуло к еде.

Глава девятая

Немазаную телегу качало из стороны в сторону. Она скрипела, трещала и, виляя расхлябанными, перекошенными колесами по задубевшей дороге, медленно двигалась среди голых кустов. Сухие старые листья с жестяным шумом перекатывались по обочинам дороги. На открытых местах сыпало в лицо песком, ветер трепал, рвал бороду.

Но Степан Андреянович, казалось, не замечал ни тряски, ни песка, секущего лицо, ни злых, резких посвистов разгулявшегося сиверка. Сгорбившись, покачиваясь на телеге, он смотрел прищуренными глазами на крутившийся в воздухе серый прошлогодний лист, и смутные, тоскливые мысли приходили ему на ум. Вот и он, как этот старый неприкаянный лист... Всю жизнь он крепко держал в руках весло; через какие пороги, падуны проводил свою лодку! А тут налетела буря, вырвала из рук весло – и закружило, завертело, как щепку. И ничего нельзя поделаться. Плыви, куда несет. И он уже не рассуждал, не раздумывал, когда Анфиса стала угроживать взять бригаду. Тяжело вставать из мертвых, а раз надо – так надо...

Впереди Степана Андреяновича ехал Трофим Лобанов. Он был в полушубке, в рукавицах. На большой круглой голове до самых плеч нахлобучен заячий треух. Ветер рвал его, как худую соломенную крышу.

Когда стали подъезжать к Попову ручью, Трофим, не оборачиваясь, повернул на крайнее поле, примыкавшее к лесу.

«Эх, Троша, Троша!.. Помирать будем – и тогда захочешь первым...»

Но Степан Андреянович не осуждал его. Так уж повелось издавна: своенравный и завистливый Трофим терпеть не мог, когда в чем-либо опережал его однокашник Степка, а нынешнее бригадирство поперек горла встало ему.

Подъехав к полю, Степан Андреянович торопливо распряг коня, наладил плуг. Легкое волнение охватило его, когда он взялся за поручни. Считай, двенадцать лет не хожено в борозде – свой огородишко не в счет.

Нет, не забывается то, что с малых лет заучено ногами. Мягко шипит земля, отворачиваемая лемехом. Качнет поручни, когда плуг наскочит на камень, и снова вспарывается затвердевшая сверху полевина, потрескивают корневища прошлогодней травы, разрезаемые железом... Вскоре у него начала слегка кружиться голова. Почва под ногами тихо зыбилась и покачивалась. «С непривычки это, духу земляного нахлебался». Когда ему стало жарко, он расстегнул ворот ватного пиджака. Холодный ветерок приятно защекотал по напотевшей шее, зашарил за пазухой.

На одном из поворотов, занося плуг, Степан Андреянович вдруг увидел на промежке большой серый камень, наполовину обросший ивняком, и, остановившись, невольно наклонился.

Господи! Да ведь это его старое поле... И этот серый камень!.. Только тогда еще не было ивняка вокруг, да и Васе, должно быть, шел тринадцатый годок...

Августовской жарыню полыхнуло на него... Степан Андреянович запахивал последний клин под рожь. Над головой погромыхивало, урчало, – душно, сил нет. Обливаясь потом, он хлещет лошаденку, пехом пихает плуг. Ох, успеть бы под дождь кинуть ржицу. И тут на завороте, у камня, как назло, подвернулась нога. Кое-как доковылял он до телеги, поглядел на сына, перебиравшего в мешке зерно: «Ну, сынок, не судьба, видно. Вези отца домой...» – «Зачем домой? Я пахать буду», – сказал Вася. «Что ты, дитятко? В твои-то годы?...» – горько усмехнулся Степан Андреянович. Но Вася уже схватился за поручни, дернул вожжой и, налегая всем своим худеньким телом на плуг, пошел, пошел...

И вот уже час, два Степан Андреянович лежит у закраины поля. В воздухе душно, солнце немилосердно припекает, а белая головенка сына все качается и качается над черной пашней...

А потом... потом Вася накинул на плечо лукошко и пошел разбрасывать зерна. Издали не сразу и поймешь, кто кого несет, – то ли Вася лукошко, то ли лукошко Васю. Степан Андреянович смотрел на сына, плакал от радости и шептал: «Хозяин! Хозяин вырос!»

Домой они вернулись затемно. Дождь лил как из ушата. Но Вася ничего не слышал и не чувствовал. Всю дорогу он беспробудно спал, уткнувшись головой в колени отца. Мать так, спящим, и внесла сына на руках в избу... Славная ржица уродилась с того посева!..

Конь, всхрапывая, потянулся к старой траве на промежке. Плуг опрокинулся, и лемех со скрежетом черкнул по боковине камня, увлекая за собой с корнем вырванные побеги ивняка. Степан Андреянович, словно очнувшись, поднял голову, поглядел кругом. Все так. То же поле, те же кусты по бокам. Только Васи нет...

Потом он опять шагнул за плугом. Холодная земляная сырость дышала ему в лицо. Скрипело колесо плуга. И мысли, тоскливые и однообразные, как скрип колеса, сжимали ему сердце...

Во время кормежки лошадей к нему подошел Трофим. Молча, не разговаривая, сел в загишь к телеге, поставил меж ног берестяную коробку и с остервенением накинулся на еду. Степан Андреянович лег сбоку Трофима, устало прикрыл глаза.

– Чего не ешь? Раз смерть обошла – живи.

Он ничего не ответил. Перед глазами, едва он лег на промежек, опять заколыхалась черная, лоснящаяся на солнце пашня, белая голова сына выплыла из голубого марева...

– Ну как, старики? Не сыро? – Это голос председательницы.

Степан Андреянович нехотя повернулся, сел.

– А в Оськиной навине сыровато. Я Софрона на малые холмы перевела. – Анфиса вопросительно взглянула на Степана Андреяновича: «Не обижаешься?»

– Раз сыро – чего же...

– Смотрю, не разучился, сват. – Улыбаясь, она прикинула на глаз вспаханный участок.

– Эта наука такая, что и на том свете помнить будешь...

– А я ведь к вам по делу, – сказала Анфиса, присаживаясь. – Бригаду вашу разорять пришла. Хочу двух пахарей к Насте перевести. Замучилась девка. Вдвоем с Василисой, старухой, – некому плуг наладить... Кого бы ты, сват, не пожалел?

Степан Андреянович безучастно пожал плечами: бери, мол, кого надо, не все ли равно.

Морщины собрались на лбу Анфисы. И все вот так: ничем не разворошишь. Бригаду стала предлагать, боялась – отказываться будет. Нет, не отказался. И что ни скажешь, делает, а сам – как подмененный ходит. «Может, лучше бы не трогать его... – ворохнулась у нее мысль. – Да где же люди-то?»

И она опять обратилась к Степану Андреяновичу:

– Ну дак кого, сват?

– Не знаю...

– Чего тут знать? – поддержал Анфису Трофим, на минуту отрываясь от еды. Дело говорит председатель.

– Может, Дарью да Трофима Михайловича? – подсказала Анфиса.

Трофим рывком вскинул голову:

– Это почто меня? Что я, бельмо в глазу? Век в одной бригаде, а теперь в чужую...

– Да ведь кого-то надо! Ты не возражаешь, сват?

– Раз надо, дак надо...

– Ах так! – Трофим с неожиданной легкостью вскочил на ноги. – Меня? Ну подожди! Вспомнишь Трофима Лобанова!

Он торопливо побросал в берестяную коробку остатки еды и, упрямо, по-бычьему нагнув вперед голову, затопал к своей лошади. Степан Андреянович тоже пошел к своему коню.

Анфиса горько покачала головой. Господи, и так-то все рвется, на живую нитку сметано, а тут еще каждый норовит характер показать...

Кругом лежали серые невспаханные поля, разделенные перелесками, ручьями и холмиками. И на этих полях лишь кое-где копошились старики и старухи да надрывались многолетние бабенки. Да что это будет? Когда все это перепашем?

Холодное, белесое, точно вылуженное, небо не предвещало тепла. Ни единой травинки не зеленело под этим небом. И она знала, что сегодня ночью, как и вчера, и позавчера, поднятая ревом голодной скотины, она опять будет выбегать на улицу и с напрасной надеждой вглядываться в огород. В белом омуте наступающих белых ночей она увидит все ту же голую, мертвую землю.

Глава десятая

Митенька Малышня, проводив Лукашина до конюшни, стал объяснять:

– Вон прясло-то¹⁵ стоит, видите? – Он указал за болото, на широкий холм. – Это Настасья Филипповны поля. Там и председатель. Сама пашет...

– А Настасья Филипповна? Новый бригадир?

– Как же, бригадир! Филиппа Семеновича дочь. У нас все больше Настькой да Настенькой кличут. Комсомолом колхозным командует.

– А второй бригадир тоже назначен?

– Назначен. Степан Андреянович.

У Лукашина отлегло от сердца. Это была неплохая весть для начала.

Семь дней он не знал, что творится в Пекашине. Да и до Пекашина ли ему было? Над колхозом «Рассвет» разразилась небывалая катастрофа. Во время ледохода ниже деревни образовался затор, и вода хлынула на деревню...

Люди трое суток отсиживались на крышах домов, колхозный скот погиб – во всей деревне осталось несколько коров, которых успели поднять на повети.

Он пришел в Водяны уже после того, как вода спала. Но и то, что он увидел, заставило содрогнуться. На улицах заломы бревен и досок, хлевы и бани сворочены со своих мест, ветер свищет в черных рамах без стекол... Люди, молчаливые, отупелые, грелись у костров, разложенных прямо под окнами, варили в чугунах мясо, вырубленное из все еще не обсохших коровьих туш.

Пять дней он почти не смыкал глаз: бегал, ездил по соседним деревням, добывал хлеб, доставал необходимую утварь, сгонял народ на помощь. В соседних колхозах рушились планы посевной. Председатели вставали на дыбы. Приходилось упрашивать, стыдить, кричать, чуть ли не драться...

Как ни был угнетен Лукашин нахлынувшими воспоминаниями, но вид мирного поля с пахарями взволновал его. Все было родное, знакомое с детства – и эти неторопливые лошаденки, мотающие мохнатыми головами, и скрип плужного колеса, и запах пресной земли, смешавшийся с запахом пережженного навоза.

На поле пахали четыре пахаря – три женщины и один мешковатый, приземистый мужчина, в котором он без труда узнал Трофима Лобанова. Узнал он и свою приметную хозяйку, – она на другом конце поля разбрасывала чадивший навоз. А вот которая из остальных женщин председатель, угадать было нелегко. Однако ему не пришлось блуждать по полю. Первым пахарем, к которому он подошел, оказалась сама Минина. Ни одна работа, пожалуй, не налагает на человека такого резкого отпечатка, как весенняя пахота. Лицо Анфисы, совершенно бледное еще неделю назад, потемнело, осунулось. Черные, глубоко запавшие глаза блестели сухим режущим блеском. И голос, когда она заговорила, тоже показался ему незнакомым – простуженный, с хрипотцой.

– Ну, председатель, – нетерпеливо сказал Лукашин, едва они сели к кустам, – выкладывай! Как сев?

– Пашем помаленьку. С кормом только беда. Лошади через каждую сажень останавливаются.

– Да, вот что... – нахмурился Лукашин. – Вам придется две лошади послать в Водяны, и срочно. Слышали, какое несчастье там?

Анфиса резко потянулась к ивовой ветке:

– А самим на себе пахать? Лошадей-то у нас сколько?

¹⁵ Прясло – сооружение из жердей для сушки снопов.

– А у них больше? – жестко сказал Лукашин. – Люди на поветях живут, в избах кирпич да глина, а вы разводите... Райком дал указание всем колхозам выделить. И коров тоже. Там ни одной коровы в колхозе не осталось.

Он свернул сигарку, помягчавшим голосом спросил:

– Когда сев рассчитываете кончить?

– В хорошие годы до войны за две недели сеяли, а нынче, видать, не скоро...

– Так не пойдет! – возразил Лукашин. – У вас нормы на пахоте установлены?

Обида взяла Анфису. И всего-то без году неделя как она председателем, а только и слышит: председатель, подай! председатель, подай!.. Вот и этот тоже! Налетел, ничего не спросил, как она тут выкручивалась. Небось, как выбирали, на посулы не скупился...

– Нормы во всех колхозах одинаковы, – вспылила Анфиса. – На твердой вспашке меньше, на мягкой больше...

– Да я не про то, – с раздражением перебил Лукашин. – Людей у вас сейчас меньше, чем до войны. Значит, каждый должен больше вспахать. На сколько? Надо каждому твердое задание на день и чтобы соревнование. Обязательно!

– Вот, вот. Стáро да мáло соревноваться будут... Что уж выдумывать, – отмахнулась Анфиса.

У Лукашина давно пропало то радостное настроение, с которым он начинал разговор с Анфисой. Черствость ее к чужой беде возмутила его. И потом эти рассуждения... Запряглась в плуг, а за колхоз дядя будет думать?

Смерив ее недобрый взглядом, он кивнул на подходивших к ним колхозников:

– А вот их спросим, – что скажут.

Марина-стрелеха, радуясь возвращению своего запропавшего квартиранта, на ходу размахивала руками:

– Пришел, родимушко...

Но голос ее потонул в реве Трофима:

– Что на фронте, комиссар? Сводка какая?

– Газет не принесли, Иван Дмитриевич? – обдала Лукашина своим светлым взглядом Настя. – Мы уж сколько дней не получаем.

Лукашин коротко рассказал о новостях с фронта.

– В общем, ничего существенного, – закончил он.

– Это как понять? – спросила Дарья. – Котору неделю про это слышим...

– Так и будут стоять, ни тпру ни ну? – зло уставился на него Трофим.

Старое, знакомое чувство личной вины за положение на фронте поднялось в душе Лукашина.

– «Ничего существенного», – сказал он, глядя в землю, – это очень существенно сейчас. Как бы вам сказать? Ну, одним словом, наша армия держит гитлеровские войска на одном месте, и днем и ночью перемалывает их силу... Чтобы самой потом в наступление перейти. Фашисты теперь – не сорок первый год – битые! Наступать по всему фронту – силенок мало-вато. Ну и хитрят, шупают, где слабина у нас есть.

Лукашин помолчал, дрогнувшим голосом добавил:

– А чтобы сзади, в их тылу, никто не мешал, наших людей уничтожают...

Он достал из сумки газету, развернул:

– Тут нота напечатана... О зверствах фашистских захватчиков на оккупированной территории. «В белорусской деревне Холмы, Могилевской области, – начал читать Лукашин, – гитлеровцы схватили шесть девушек в возрасте пятнадцати – семнадцати лет, изнасиловали их, вывернули руки, выкололи глаза и убили. Одну молодую девушку – колхозницу Аксенову – привязали за ноги к верхушкам деревьев и разорвали...»

Анфиса обхватила вздрагивающую Настю, прижала к себе.

И снова и снова – пытки, ужасы, казни...

– «Героически погибла группа женщин и детей – жителей деревни Речица, Смоленской области...»

Голос Лукашина оборвался. Лицо его побледнело, пот выступил на лбу.

– Я сам со Смоленщины... Семья там...

Он пересилил себя и твердым голосом прочитал:

– «...Героически погибла группа женщин и детей – жителей деревни Речица, Смоленской области, которых немцы, предприняв первого февраля тысяча девятьсот сорок второго года контратаку на деревню Будские Выселки, погнали впереди своих наступающих подразделений. Когда измученные женщины и дети приблизились к советским позициям, они смело крикнули красноармейцам: «Стреляйте, позади нас немцы!» – Лукашин стиснул в кулаке газету: – А у нас по старинке... Работаем как бог на душу положит. Даже дневных заданий нету... Стыд!..

Анфиса низко опустила голову.

Не все, ох не все было справедливо в словах Лукашина. Но разве перед лицом тех неслыханных мук и страданий, которые выпали на долю их сестер и братьев, мог кто-нибудь из них сказать, что он делает все, что может?

– Я предлагаю вот что, – спокойно закончил Лукашин. – Сегодня же установить твердое дневное задание каждому. И чтобы не уходить с поля, пока это задание не выполнено. Иначе – сев до Петрова дня. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, товарищ Гаврилина, – обратился он к Насте, – вашей бригаде надо включиться в соревнование. Ну, скажем, с бригадой Ставрова.

– Я не знаю... – неуверенно сказала Настя, – наша бригада слабая...

Трофим резко повернул к ней голову:

– Это кто сказал «слабая»? Супротив Степана слабая?

Дарья молча поднялась, натянула рукавицы и, срезая дорогу, прямо по полю зашагала к своей лошади.

После того как они остались вдвоем, Анфиса робко сказала:

– Может, мне лучше уйти с председателей...

Лукашин ничего не ответил. Он сидел, жалко сторбившись, в замызанной, топорщившейся на спине шинели, и, судя по неподвижному взгляду прищуренных, опухших от бессонницы глаз, мысли его были сейчас далеко-далеко... Она смотрела сбоку на его худое, небритое лицо, на обветренные, потрескавшиеся губы, на грязную, перекрученную веревкой повязку, с которой безжизненно свисала маленькая кисть раненой руки, и вдруг безотчетная бабья жалость шевельнулась в ее груди.

Глава одиннадцатая

Смех и горе!¹⁶ Он да Троха – два старых дурака соревноваться будут. Нет, не такое сейчас время, да и стар он, чтобы вперегонки играть. Работы и так робить не переробить. Но, взглянув на Настю, Степан Андреянович заколебался. Она так доверчиво и умоляюще смотрела ему в глаза, что у него не хватило сил обидеть ее. Ему и всегда-то нравилась эта ласковая, обходительная девушка, которая при встрече не по-здешнему говорит «вы», а теперь, когда он заглянул ей в глаза, что-то очень знакомое, родное почудилось ему в их открытом, доверчивом взгляде.

– Ладно, скажу людям, – уклончиво сказал Степан Андреянович.

Настя ушла обиженная, не попрощавшись.

«Мутят голову девке, – вскипел Степан Андреянович, – в самый раз теперь шум разводиться».

Но назавтра он выехал в поле на час раньше обычного, а днем даже не поехал на обед. Вечером после работы у него ломило поясницу, подкашивались ноги. И все-таки от конюшни он пошел не домой, а в правление. Надо было и с председателем потолковать, да и просто так хотелось послушать, что деется на свете.

Сюда, никем не званные, поздно вечером, перед тем как забыться в коротком, тяжелом сне, собирались люди. И почти каждый вечер из неведомых далей доносился живой голос какого-нибудь земляка, – с Ледовитого океана, из-под стен Ленинграда, с южных степей Украины – отовсюду, куда забросила война пекашинцев, приходили долгожданные, свернутые незамысловатым, обтрепавшимся в долгих дорогах треугольничком, родные письма.

Какой-нибудь молчаливый Кузьма за всю свою жизнь не сумел сказать надоедливой женке и двух ласковые слов. А почитай его письма с фронта! И лапушка, и любушка, и кровинушка моя, – наговорил такого, чего и сам никогда не подозревал в своем сердце...

И вот исстрадавшаяся Анисья получит письмо, расплечется от радости, перечитает его раз десять сряду и про себя, и для свекрови, и для детишек, так что заучит каждое слово, еще прочитает, перескажет столько же раз соседям, а потом наконец выберет время: засядет отвечать.

Хочется много-много высказать, чем переполнено сердце: и о том, как она истосковалась по своему Кузе, и как часто видит его во сне, и о том, какими большими стали Сенька да Полюшка, которая родилась без него, и о том, как она – чего и греха таить – каждый вечер, ложась спать, вспоминает его в молитвах...

Но ничего-то этого не попадет на бумагу. Где же ей, полуграмотной бабе, измученной непосильной работой, пересказать себя? Из-под огрубевшей, непослушной руки, с трудом удерживающей карандаш, выходят одни корявые строки с вечными, запомнившимися с детства поклонами от матушки, жены и детушек, от всей родни и знакомых. Но как много скажут эти поклоны Кузьме!

Домашними запахами, родимыми голосами повеет с листка. Перед глазами встанет далекая немудреная отцовская изба. Вечер. На столе чуть-чуть мигает коптилка, а то и просто трещит лучина, – где же взять керосин во время войны?.. Анисья только что подоила корову и, сев за стол на лавку, руками, еще пахнущими молоком и сеном, вырывает листок бумаги из толстой тетради, купленной года за два до войны для разных хозяйственных записей. Седая старенькая мать сидит на стуле, напротив жены, – слезы катятся по ее морщинистому лицу, и, должно быть, та же тоскливая дума, что и при прощании, грызет ее сердце. Суждено ли

¹⁶ В 1971 г. Автор набросал иной вариант начала главы: «Не думал, не думал Степан Андреянович, что на старости будет играть в детские игры – так ему казалось. А пришлось».

ей дожидаться своего разьединственного кормильца? Возле матери пристроился пятилетний баловень Сенька. Рыжая лохматая головенка лежит на столе, глаза, серьезные и немигающие («письмо папке пишем»), следят за рукой матери... А где же Полюшка, которую он ни разу не видел? Спит в зыбке или на руках у бабушки? В одной строке какая-то буква оборвалась вдруг резкой чертой. Да ведь это Полюшка помогала матери...

Солдат перевернул листок и на другой стороне увидел замысловатые ломаные линии, выведенные на всю страницу прямо по писаному. Он взгляделся и понял: это малюсенькая Полюшкина ручка срисована в натуральную величину.

В конце письма буквы совсем расплылись. Видно, Анисья здесь не выдержала и дала волю слезам...

Горючей тоской оденется его сердце. А потом встанет, выпрямится этот тихий и смиренный Кузьма, и уже ничто не остановит его, страшного и неукротимого в своей ярости.

В тот вечер Степан Андреевич, подходя к правлению, еще издали увидел у крыльца толпу женщин и ребят, сгрудившихся возле большой доски, наполовину красной, наполовину черной. Настя Гаврилина, стоя на табуретке, что-то мелом заносила на нее. Степан Андреевич медленно прочитал:

СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ ПОМОЖЕМ
НАШИМ СЫНОВЬЯМ, МУЖЬЯМ И БРАТЬЯМ,
СРАЖАЮЩИМСЯ НА ФРОНТЕ!

– Сколько, Степан Андреевич? – обернулась Настя.

– Соток пятьдесят с лишком.

– Э, не дотянули! – сочувственно улыбнулась Настя. – Марфа Репишная всех перекрыла. Знаете сколько? – Глаза Насти широко и удивленно раскрылись, словно она сама не верила тому, что должна была сказать. – Семьдесят соток.

– Вот уж нашли чему дивиться! – ухмыльнулась Варвара, которая, бог знает когда, уже успела переодеться и в белоснежном платке выглядела франтихой, пришедшей на гулянье. – Да разве за нашей Марфой кто угонится? – Варвара особо подчеркнула «за нашей» и посмотрела на всех так, будто в успехе Марфы есть и ее немалая заслуга. – Наша Марфа ведь как пашет? Полдня на лошади да полдня на себе! Ей-богу, бабоньки, – с пресерьезным видом заметила она. – Мы обедать, а наша Марфа лошадь распряжет да сама в хомут. – И Варвара первая залилась легким, бездумным смехом.

С этого дня началась такая горячка, какой давно уже не знало Пекашино.

Восемнадцатого мая Степан Андреевич вспахал 0,80 га, Марфа Репишная 0,85 га. Но больше всех в тот день дала Дарья – 0,89 га!

На другой день, однако, и эта цифра оказалась битой. Трофим Лобанов, к всеобщему удивлению, поднял 0,92 га.

Поздно вечером, совершенно ошалев от радости, он с важностью расхаживал перед женками, столпившимися у доски соревнования, и, высоко задирая бороду, кричал:

– Нет, брат, шалишь!.. С Трохой не тягайся. Жидковат супротив меня Степка, жидковат!

В довершение ко всему, ему показалось, что фамилия его недостаточно выделена среди других, и он заставил Настю переписать ее самыми крупными буквами.

– Раз лучший пахарь, – потрясал он кулаком, – надо, чтобы за версту видно было Лобанова.

Но Трофим торжествовал недолго. На следующий день Софрон Мудрый поднял 0,95 га, а еще через день Степан Андреевич дал 1,1 га – неслыханную в Пекашине цифру.

Новость эту сообщила Трофиму Настя у конюшни, когда тот, вернувшись с поля, распрягал коня. Она сразила его наповал. Он с минуту стоял, выпучив на бригадира свои немигающие, ставшие еще более круглыми глазница, силился что-то сказать, да так и не сказав ни

слова, кинулся на поле к Степану Андреяновичу. Туда он прибежал весь мокрый и прямо-таки несчастный.

– Ты... того... правду, Степа, а? – стал он допытываться у своего соперника, робко и в то же время подозрительно заглядывая ему снизу в глаза. Вчерашнего, случаем, не прибавил?..

Не поверив на слово, он сам обежал участок, потом, задыхаясь и проваливаясь по колону в рыхлую пашню, бродил по полю, запускал руку в землю, выискивая огрехи и изъяны, – не нашел. По дороге, однако, Трофим мало-помалу успокоился, и, когда они в сумерках подошли к правлению и Степана Андреяновича все стали поздравлять, он покрыл всех своим басом:

– Чему дивья? На такой земле, как Степанова, двух десятин мало! Не земля, а пух!

Но с этого дня Трофим лишился сна и покоя. Он еще кое-как мог примириться с бригадирством Степана («лучше грамоту знает»), но чтобы его, Троху, обошли на борозде... Нет, тут кровь из носу, а Степку надо осрамить!..

Всю жизнь прожил Трофим, соперничая со Степаном Андреяновичем. Началось это еще в молодости, когда оба они становились на ноги. Крепок и вынослив был приземистый Трофим, ворочал на работе как леший, а смотришь, все как-то боком у него выходило... Выстроил Степан Андреянович новый дом – люди нахвалиться не могли. Трофим решил «перешибить». Размахнулся, отгрохал дворище коров на двадцать, а на передок и леса не хватило. Пришлось со всей семьей тесниться в боковой избе, сколоченной из старья. Новая же громадина – с сенником на дорогу вместо окон – торчала, как воронье пугало, но Трофима это не смущало.

«У Степки дом – хоть жито вей, у Трохи – воду лей! – хвастался он на людях. – Не верите? Тащите бочками воду!»

В просторном же дворе, спасаясь от лютой стужи, всю зиму на рысях бегала одинокая коровенка.

«Ничего, пушай резвится! – утешал Трофим жену. – Зато летом никакой зверь не возьмет».

Степан Андреянович тоже не сразу обжился в новом доме. В первую зиму его одолели тараканы – два раза пришлось морозить, выходить на постой к соседям.

Трофим, частенько навещая своего дружка, высказывал сочувствие, давал советы.

«И откуда бы этой погани взяться? – говорил он, невинно тараща глаза. – Не иначе с мохом в пазы попали. Не пришлось бы тебе, Степа, перетряхивать передок-то. А то – помучишься-помучишься, да и перетряхнешь. Экое наказание!»

Потом, как-то в праздник, Трофим неожиданно предложил:

«Станови, Степан, косушку! Слово такое знаю – тараканов как рукой снимет, вот те бог!»

Нехорошее подозрение шевельнулось в душе у Степана Андреяновича. Он отказал. Трофим стал упрашивать, клянчить, под конец соглашался даже на рюмку. Степан Андреянович не поддавался. Тогда-то Трофим и выдал себя с головой.

«Ну дак попомни Троху! – закричал он вне себя. – Изведу тараканами, вот тебе бог изведу! Со всей деревни напушу!»

В следующий приход хозяин глаз не спускал с гостя. А тот за разговором, будто невзначай, обронил за лавку спичечный коробок. Степан Андреянович быстро поднял его. Из приоткрытого коробка на руку хлынули тараканы.

Трофим смутился, забормотал, отступая к порогу:

«Робятища это... я уж их...» – и кинулся вон из избы.

С годами соперничество вьелось в кровь и плоть, а к старости приняло совсем курьезный характер. Ну чего бы, кажется, хвалиться тем, что одному детей бог больше дал, другому меньше? Но Трофим и в этом усматривал свое превосходство.

«У Степки – двое, мы со старухой семеро наворочали, – говорил он, подвыпивши, и, загибая пальцы на руке, с гордостью перечислял своих отпрысков: – Макса-косой – раз, Яшка-

бурлак – два... Ефимко-солдат – четыре, Машка-глушня – пять, Матреха-невеста – шесть, Оля, отцово дитяtko, – семь...»

Задумав посрамить Степку, Трофим перебрал в своей бригаде всех лошадей, но все равно – выше 0,92 га подняться не мог.

И вдруг однажды его осенила счастливая мысль. Как-то после работы, ставя в стойло свою лошадь, он обратил внимание на быка – огромного черного быка, стоявшего в крайнем стойле и лениво ворочавшего челюстями.

Бык этот, по кличке Буян, был приведен когда-то на цепях из Холмогор и немало послужил колхозу, но со временем отяжелел, его перевели на конюшню и стали использовать вместо рабочей скотины. Вначале Буян ярился, свирепел, а потом, видно, свыкся со своей долей и уже ничем больше не выдавал своего грозного характера. Железное кольцо без надобности болталось в его мясистых ноздрях.

Трофим, присматриваясь к быку, вспомнил, как зимой он встретил его в упряжке с большущим возом дров, вспомнил и даже вспотел от внезапно пришедшей в голову мысли... Пораздумав, он осторожно, не без опаски, приблизился к животному и начал поглаживать его рукой, ласково приговаривая:

– Тпрусенько... тпрусенько, маленькой...

– Бык не шевелился.

Старый конюх Ефим, заметив странную возню Трофима с животным, спросил:

– Ты чего это, Троша, быка обхаживаешь?

– А что, жалко? – оправдывался Трофим, застигнутый врасплох. – Животное, оно тоже ласку любит... Может, я по бычачьей части хочу?

А дня через два – ни свет ни заря, – когда в деревне все еще спали, Трофим тайком вывел быка из конюшни и погнал на Панькины поля.

У колодца ему повстречался пекашинский раностав Митенька Мальшня.

– Куда это, Михайлович, в такую рань да еще с быком? – спросил изумленный Мальшня.

– Куда? Троха сегодня себя покажет! – загадочно сказал Трофим. – Видишь, силища какая! Всех лошадей запряги – не заменят!

Затем, обернувшись на ходу, крикнул:

– Скажи, чтобы новую доску заказали. На старой, на какой Степка красовался, для Трохи места мало!

Мальшня постоял-постоял и решил посмотреть, что же получится из этой диковинной затеи. Легко вскарабкавшись на телегу, он с чисто детским любопытством воззрился на Панькины поля, черневшие в каком-нибудь полукилометре от конюшни.

Было Митеньке уже под семьдесят. Но природа, произведя его на свет, словно забыла о нем, да так и оставила ребенком... Маленькое, сухонькое тело его без устали порхало по земле. Его и по одежде не сразу отличишь от ребенка: штаны узенькие, с заплатами на коленях, а поверх рубашки гарусный плетеный поясok, какие в старину носили крестьянские дети. Все лето выхаживал он босиком, и ноги у него были как у ребят, – черные, все в ссадинах да цыпках.

Митенька обожал всякую живность. Летом избушка его, приткнувшаяся вместе с банями к косогору, походила на птичник. Два кривых окошечка не закрывались ни днем, ни ночью, и разная пернатая мелочь чувствовала себя там как дома, разве что не вила гнезда.

Но больше всего на свете Митенька любил детей. Лучшей няньки, чем он, не было. В страду его зазывали во все многодетные дома, да только он обычно уходил на понизовье, в другие деревни – уж больно любопытно ему было поглядеть на новых людей.

Возвращался Митенька осенью, и всегда в один и тот же день. Годами приученная ребятня с утра высыпала за деревню и встречала его с великим ликованием: весь свой скудный заработок Митенька обращал в свистульки, пряники, карандаши и тетрадки.

В этом году он остался в Пекашине и добровольно принял на себя обязанность посыльного в правлении.

Целый час, наверно, выстоял Малышня на телеге, а бык все шагал и шагал по пашне, словно он всю жизнь ходил в борозде. Малышня уж хотел было слезть с телеги, но в это время где-то по-весеннему призывно мыкнула корова. «Видно, кто еще пашет», – подумал Малышня, разыскивая глазами промышавшее животное. На задворках у Марины-стрелехи, в огороде, он увидел черно-пеструю корову, а затем и самое хозяйку. «Это она Пеструшку свою разгуливает», – догадался Малышня.

Пеструшка опять промышчала, потом еще и еще раз.

И вдруг в ответ ей над деревней прокатился страшный рев Буяна. Митенька со страхом взглянул на поле.

Черный великан, высоко взметая копытами прах земли, летел прямо на огород Марины. Трофим бежал сзади, ухватясь за плуг, что-то кричал, потом упал и поволокся по пашне.

– Караул! Спасите, родные!.. – благим матом завопил Малышня и со всех ног кинулся в деревню.

– Трофима бык порешил... Бежите к Марине...

В утренней тиши захлопали двери, ворота. Анфиса прибежала к месту происшествия, когда там уже собралась целая толпа.

– Живой, нет? – испуганно спрашивала она, проталкиваясь к середине.

– Охо-хо-хо! – ржали кругом.

Трофим, растерзанный, без шапки, весь вываленный в землю, стоял, окруженный женщинами и ребятами. На него, брызгая слюной, наседали разгневанная Марина:

– Разоритель ты окаянный!.. По миру хотел пустить...

Трофим оборонялся руками, пятился назад:

– А я знал, что ему на старости такое взбредет? Моли бога, что огорода помешала, а то бы от твоей Пеструшки одна мокреть осталась...

Буян стоял тут же, за изгородью, сонно опустив к земле круторогую голову. Марина успела все-таки вовремя утащить свою коровенку, и бык, наскочив на изгородь, остановился как вкопанный.

– Вот как ты... – еще пуще расходилась Марина.

– Так, так его... – подзадоривали старуху.

– Ох и Лобан, учудил...

– И как он придумал, женки!..

– Это он всех обогнать хотел!..

– А бык-то... вспомнил свои годочки...

– Будет вам, бесстыдницы? – одернула Анфиса.

Но долго еще соскучившиеся по веселью бабы зубоскалили и потешались над незадачливым Трофимом.

Глава двенадцатая

В Поповом ручье – темень, как в осеннюю ночь. Глухой, застарелый ельник подступает к самым переходинам – двум жиденьким жердочкам.

Настя поскользнулась – холодная, ледяная вода хлынула за голенища. Выбравшись на сушу, она переобулась, отжала подол и, усталая, голодная, побрела дальше.

Ну и денек сегодня! Она как встала в три часа утра – так ни разу и не присела. Трофим из-за быка – будь он неладен – слег, а лошади что простаивать? Ну и вот: люди на обед – а она снова пахать, люди с поля – а она поля обмеривать...

Вечерело. По сторонам топорщились голые кусты, тускло отсвечивали звезды в лужах. Настя сначала обходила их, а потом уже брела, не разбирая дороги. В сапогах хлюпало, мокрый подол оплетал ноги, холодная сырость поднималась к самому сердцу. Ничего, только бы добраться до дому, а там она переоденется во все сухое, на печь залезет. А еще бы лучше – в баню... Ну и что, сказать только маме – живо истопит. А может, уже топит? Вот бы хорошо! Полок горячий, каменка потрескивает, и веничком, веничком...

И едва она подумала об этом, как ноги ожили.

Где-то в стороне – или ей почудилось это – всхрапнула лошадь. Конечно, почудилось. Какая теперь лошадь – все давным-давно дома. Нет, опять всхрапнула. И плуг скрипит.

Она повернула голову, посмотрела влево. На поле кто-то пахал. Настю это так удивило, что она, не раздумывая, свернула с дороги. В пахаре она еще издали опознала Анну-куколку. Маленькую да худенькую – с кем ее спутаешь?

– Ты что, Анна? Всех перекрыть решила? – попробовала пошутить Настя, подходя к ней.

Анна приостановила лошадь, натянуто улыбнулась:

– Как же, только и думушки... Нет, Настенька, где мне... Свое, законное, отрабатываю. Нынешние порядки – сама знаешь. Пока сорок соток не осилишь, хоть ночуй на поле. Ну а пахарь-то я такой – первую весну хожу за плугом. Сегодня уж и то хотела уехать; думала, ребят хоть в баню свожу. Нельзя.

– Да ты бы Степана Андреяновича попросила.

– Что уж просить. Кто за меня пахать будет? А иной бы раз и попросила, да сердце-то у него не больно ко мне лежит...

– Чего же вы не поделили?

– Кто его знает. Может, из-за старой обиды все. Он ведь свою дочь Марью за Ивана хотел сосватать, а тут я вроде дорогу перебежала.

– Ну, уж это... – нахмурилась Настя. – У Степана Андреяновича такое горе... А ты невесть что.

– Горе-то горем, а человек человеком. Да я не выдумываю. На днях веревку снимаю с телеги, мертвым узлом затянулась, никак не развязать. Ну я и тяпнула топором. Дак уж он меня честил... И что, говорит, Иван в тебе только нашел? Один голосище. Я ведь певунья ране-то была.

Настя украдкой разглядывала Анну. Разбитые сапожонки, на одной ноге шерстяной чулок съехал на голенище, посинелая коленка проглядывает.

– Как ты сама-то живешь, Анна?

Анна зябко поежилась, подула на красные, потрескавшиеся руки:

– Какая уж моя жизнь, Настенька... Едоков-то у меня сколько, а работница я одна, и то никудышная. Хлеб свой месяца два как вышел – на аванс живем. Сама-то вся отошала. Ведь какой кусок получше, какая капля молока завелась – все им.

Худое, обветренное лицо Анны вдруг оживилось, теплая искорка мелькнула в ее черных усталых глазах:

– Малый-то у меня еще несмышлениш. На днях слышу, соседским ребятишкам хвастается: «А у нас мамка такая – молока не ест...» Смех и горе! Заждались матери, а мать, вот видишь.

– Ничего, у тебя Мишка большой.

– Большой-то большой... – вздохнула Анна, – да что толку. Совсем от рук отбился. Ох, да это все ничего! От Ивана писем нету – скоро уже два месяца. Не знаю, что и подумать... все сердце выболело.

– Ну это так что-нибудь... Война... мало ли какие задержки. У нас вот тоже от брата Григория нет писем. Мама вся извелась, ночью встанет, молится...

– А как ты думаешь, Настенька, – ты в район ездешь – скоро война кончится?

– Не знаю... – замаялась Настя, но, взглянув на выжидающее лицо Анны, поспешно добавила: – Должно быть, скоро...

– Да уж скорее бы! А как кончится, дождаться бы Ваню... – мечтательно заговорила Анна. – Сдам всю ораву и себя сдам: вот, дорогой ты мой муженек, хватит. А я уж отдохну. Вот только не знаю, – невесело усмехнулась Анна, – как избу сдам. Ежели еще зиму зимовать, ума не приложу. А все сам виноват, сколько раз говорила: «Давай, Иван, строиться». А он рукой махнет: «Ладно, успеем». Вот и успели.

В это время порывом ветра донесло слабый ребячий голосок:

– Ма-ма-а-а... Ма-а-а-мо-нька, иди домой...

Настя вопросительно взглянула на Анну.

– Это Лизка моя, – сказала та, прислушиваясь. – Вот завсегда так – матери навстречу выходит. А чтобы не боязно было, всю дорогу причитает...

Анна приложила к губам руки, крикнула:

– Ли-и-за! Не ходи сюда. Я скоро приеду! Затем она торопливо взялась за ручки плуга, виновато улыбнулась:

– Заговорила я с тобой, Настенька. А мне еще добрый час валандаться. Вишь, колышек-то, – указала она на поле, – до этого колышка. Ну, да ничего, хоть душу отвела. А Лизку встретишь, вороти домой.

– Ма-а-а-мо-нька-а... – снова послышалось Насте. Она приподнялась на носки. Серая муть, ничего не видно. Только возле изгороди как будто что-то шевелится на дороге.

Настя растерянно оглянулась назад. Анна уже шагала за плугом.

– Постой-ко, Анна. – Она подбежала к Анне, легонько оттолкнула ее от плуга. – Иди встречай сама Лизку, а я здесь управлюсь.

– Нет, нет... – замахала Анна обеими руками. – Что ты... Я сама... Ты ведь тоже не железная... устала...

– А я и нисколешенько не устала! – с задором, сама не узнавая себя, сказала Настя. – Я, если хочешь знать, и не пахала сегодня.

– Все равно... это не дело. У нас соревнованье с вашей бригадой... Бригадир узнает, будет делов...

– И ничего не будет, не выдумывай! А если бы мне домой надо, неужто б ты не помогла?

Перед этим доводом Анна не устояла.

– Ну, коли так, – дрогнувшим голосом сказала она, – спасибо, Настенька. Побегу скорей, может, еще баню истоплю...

Анна уже была далеко-далеко, а Настя все глядела и глядела ей вслед, и радостная, счастливая улыбка не сходила с ее губ. Потом она оглянулась вокруг себя: пустынное поле, немые и безразличные звезды над головой. В нескольких шагах от нее, понуро сгорбившись, стояла неподвижная, будто окаменевшая лошаденка.

«Вот и прогрелась в бане...» – с горькой усмешкой пошутила она над своими недавними мечтами и, вся дрожа от холода, побрела к плугу.

Глава тринадцатая

У каждого человека есть поворотный день в жизни. Так и у Анны.

Это случилось в летний праздник в ее родной деревне Слуда, года за три до коллективизации. Уже давно задирали нос пекашинские ребята, а с тех пор, как у них появился Ваня-сила, житья не стало слудянам. Этот Ваня-сила свалился на них как снег на голову. Пока жива была его мать, не было никакого Вани-силы. Знали только, что в Пекашине у вдовы есть сын, смиренный, кудрявый увалень, который, за неимением лошади, на себе возит снопы с поля. Но вот умерла мать, и парень будто с цепи сорвался: запил, на всю округу прослыл первым драчуном. Особенно доставалось от него слудянам, с которыми у пекашинцев была давняя вражда не то из-за покосов, не то еще из-за чего-то, – толком никто не знал. Но все равно, как праздник – так и драка, да такая, что иногда и ножи, и топоры пускали в ход.

Обычно в начале драки Ваня безучастно стоял в стороне – боялся зашибить кого-нибудь намертво, но как только верх начинали брать слудяне, он врзался в самую гущу и, как щенят, разбрасывал всех, кто попадался под руку. Слудяне ждали случая, чтобы поквитаться с Ваней-силой, и наконец дождались.

В тот летний праздник Ваня пришел на Слуду один. Он был очень пьян и, в алой рубахе, без пояса, с расстегнутым воротом, бесцельно брел по деревне, качаясь из стороны в сторону.

В первом же переулке на него набросились из-за угла парни и мужики, смяли и начали молотить чем попало. Ваня рванулся, вскочил на ноги, выхватил из изгороди жердь и, страшный, окровавленный, бросился за слудянами. Он прогнал их через всю деревню, потом, уже ничего не разбирая, кинулся на толпу баб и девок, – те с визгом и воем рассыпались по сторонам.

И вдруг он увидел в нескольких шагах от себя маленькую смуглявую девушку в красном платье с белыми нашивками, в легких хромовых башмаках на высоком каблучке.

– Ну, ударь! – с вызовом сказала она и сделала шаг навстречу. – Бесстыдник! Налил глазища – и море по колено.

Со смуглого, слегка побледневшего лица на него с гневом и презрением смотрели черные глаза.

Ваня, не отрывая от нее взгляда, ленивым движением отбросил в сторону жердь и вдруг рассмеялся. Она была такая маленькая да тончаявая, эта сердитая цыпоська, что он мог бы поднять ее на одной ладони.

– Ух ты, милаша ненаглядная, – сказал он, пьяно улыбаясь и протягивая руки, чтобы обнять девушку.

Девушка отшатнулась и плюнула ему в лицо. Толпа, окружившая их к этому времени, ахнула. А Ваня растерянно захлопал глазами, вытер лицо ладонью, затем протер глаза, словно желая убедиться, не во сне ли с ним все это происходит, и медленно, как-то виновато улыбаясь, побрел прочь.

Вслед ему полетели насмешливые выкрики:

– Вояка!.. Девки струсил!..

– А вы чего ржете? – затопала на парней Анка. – Радуетесь – один верзила всю деревню разогнал!

Ваня оглянулся, еще раз посмотрел на девушку и опять застенчиво, по-ребячьи улыбнулся.

С тех пор он зачастил на Слуду, как верующий в церковь, немой и неотвязной тенью стал ходить за Анкой. Пил и ввязывался в драки по-прежнему, но стоило ему увидеть Анку – тише воды ниже травы становился парень.

Скоро ребята перестали ухаживать за девушкой. Кому же охота отведать Ванина кулачища? Для Анки настали тоскливые дни: девки идут с гулянья в обнимку с ребятами, целуются, а она все одна да одна – только где-то сзади безмолвным стражем вышагивает Ваня, не спуская с нее ревнивого взгляда и не решаясь приблизиться сам.

Анка терпела-терпела, но однажды не выдержала.

– Да когда же ты оставишь меня, окаянный? – разревелась она. – Хожу как прокаженная – все люди шарахаются... Что я тебе – жена, что ли?..

В тот же вечер Ваня нагрянул со сватами. Отец Анки, чернявый крепыш, с уважением посмотрел на саженные плечища жениха, на его высокую, колоколом выпирающую грудь и дал понять дочери, что согласен.

– И что ты, батюшко, – взмолилась она слезно, – чтобы я да за такого лешего... Да он, пьяница, в первый же день меня пропьет...

– С этого дня капли в рот не возьму! – глухо сказал Ваня.

– И слышать не хочу! – не унималась Анка. – Да разве я пара ему, батюшко? Лучше уж на свете не жить, чем за такого...

Отец беспомощно развел руками:

– Ну, парень, не взыщи. Люб ты мне, а неволить девку не хочу – одна она у меня.

Ваня, красный от стыда, кинулся из избы, но у порога остановился и, повернувшись к Анке, упрямо бросил:

– Зарубил дерево – все равно срублю!

В ту же ночь он исчез из Пекашина. Проходил месяц, другой – Ванину избушку уже и снегом до окон замело, а о самом Ване – ни слуху ни духу.

И вдруг он объявился. Раз весной Анка получила по почте пакет. В пакете была одна газета. Анка, ничего не понимая, развернула ее. С первой страницы «Правды Севера» на нее глянуло знакомое лицо. Она прочитала под портретом: «Лучший сплавщик Усть-Пинежской запани тов. Пряслин».

– Вот еще чем решил купить, – фыркнула Анка и разорвала газету.

Вскоре вернулся и сам Ваня. На пекашинский берег он сошел в новом нарядном костюме, с гармонью. И тут новость, как гром, поразила его: Анка выходит замуж.

Ваня – на Слуду, но там уже все было кончено. Со двора Анкиного отца разъезжались последние гости.

– Эх ты, недотепа... – встретил его подгулявший на свадьбе отец. – А еще говорил: «Зарубил дерево – срублю». Пропили Анку – только что увезли в Выдрино. А ведь она тебя, дурака, вспоминала.

Ваня скрипнул зубами, застонал. Со двора выезжал последний тарантас. Он подбежал к тарантасу, выбросил из него обалдевших сватов, вскочил на козлы – и в погоню.

Что произошло дальше, толком не знали: об этом не любили вспоминать ни жених, ни его родня. Но на другой день рано утром Ваня-сила, весь в синяках и ссадинах, в разорванном пиджаке, лихо подкатил к своей избе и осторожно высадил из тарантаса маленькую смуглявую женчонку, голова которой едва доставала ему до подмышек.

– Вот так пара – баран да яра... – подивились Пекашинцы.

...Дружно зажили молодожены. В положенный срок Анка родила сына, потом детишки пошли как грибы.

Ваня души не чаял в своей Анке, баловал как мог. Бывало, возвращаются с домашнего покоса – у Анки на руках годовалый Мишка, – Ваня подхватит обоих на руки да так со смехом и втащит без передышки в крутую пекашинскую гору.

– Сидит... как куколка... – с завистью скажет какая-нибудь баба.

Так с этим безобидным прозвищем и вошла в пекашинский мир жена Вани-силы...

Когда Анна переступила порог избы, ее поразила непривычная тишина. В густых потемках, разрываемых красноватым светом керосинки, – белая, гладко зачесанная голова Лизки, припавшей к столу. Поскрипывает перо.

– Что у нас сегодня тихо? Где ребята?

Лизка вздрогнула. Затем ее невзрачное широкоскулое личико с зелеными глазами разом просияло:

– А я тебя и не учуяла.

Она живехонько вскочила из-за стола и, шелестя босыми ножонками по полу, подбежала к матери.

– Ребята, говорю, спят? – переспросила Анна, прислушиваясь.

– Чего им? Молока натрескались, на печь залезли. А ты что долго? Я ждала-ждала – Семеновна корову подоила.

Анна прошла к печному прилавку, села:

– Ну, слава богу, хоть корову доить не надо.

Она прислонилась спиной к горячей печи, блаженно закрыла глаза.

– Сапоги-то давай снимем. Я валенки с печи достану. Горячие...

Теплые проворные пальцы дочери забегали по лицу, развязывая шаль.

– Погоди, дела еще не деланы. Я хоть минутку так посижу. Вся сегодня замерзла.

– Как не замерзла. Экой сиверко – страсть. У нас Петруха Васиных стекло разбил в классе – я едва высидела. Надежда Михайловна говорит: взыщем. Мать-то шкуру с Петьки спустит. Из своей рамы вынимать будет аль как... Где нынче стекло-то взять.

По спине Анны горячей волной растекается тепло. Бойкий приглушенный голосок дочери убаюкивает, как мурлыканье.

– Бригадир-то нынче не ругался?

– А чего ему ругаться? – вяло, не открывая глаз, отвечает Анна.

– Люди сказывают, на днях наорал на тебя. Дикарь старый...

Анна недовольно поморщилась:

– Не говори чего не надо, глупая. Разве так можно?

– А что и ругается. Ругатель! Сына убили, и старуха теперь...

– Замолчи!

Анна отклонилась от печи, застегнула фуфайку:

– Где Мишка? Я баню по дороге затопила, хоть воды бы наносил.

– Где? Известно где. Углы у домов считает.

В темном углу у порога, на деревянной кровати, захныкала, заплакала Татьяна.

– У, пропасть, учуяла, – погрозила кулаком Лизка.

– Ладно, давай ее сюда, – сказала Анна, расстегивая ватник.

Девочка, едва оказалась на коленях у матери, жадно, обеими ручонками вцепилась в ее грудь, но вскоре выпустила и заплакала.

– Возьми ее, – сказала устало Анна. – Пойду баню посмотрю.

– Поплачь, поплачь у меня, кислятина, – говорила Лизка, принимая от матери ребенка. –

Она готова мать-то съисть...

К приходу ее из бани изба кипела муравейником. Ну ясно – явился! Мишка, катавшийся с младшими братьями посередине пола, поднялся, присел на табуретку.

– Не стыдно? Мать и в поле, и баню топит. Разве отсохли бы у тебя руки, кабы воды наносил?

– Опять завела... Откуда я знал, что ты баню выдумаешь?

– Срамник бессовестный, – вступилась за мать Лизка, высовываясь с мокрой тряпкой из задосок. – Не зыркай, не зыркай – не больно испугалась. Уже вот папе напишем... Да, мама?

– Ладно, хватит вам. Собирайтесь в баню.

Мальши, толкая друг друга, кинулись под порог разбирать одежду и обувь. Поднялся крик, драка: «Это мне». – «Нет, мне». – «Отдай!» На полу, всеми оставленная, заплакала Татьяна.

– А ты что именинником сидишь? Особое приглашение надо?

– Не пойду!.. – проворчал Мишка и отвел глаза в сторону.

– Как не пойдешь? Грязью зарости хошь? И в тот раз на улице пролетал.

– Не пойду, и все. Пристала...

– Пристала? Ну погоди у меня...

Анна в ярости схватила с вешалки ремень, бросилась на вскочившего Мишку, но в тот момент, когда она занесла ремень, взгляд ее наткнулся на подбородок сына – и рука дрогнула...

Мать перерос!.. Она с изумлением разглядывала стоявшего перед ней длинного, рукастого, какого-то незнакомого ей парня, угрюмо скосившего черные глаза в сторону. Ей пришлось даже немного отвести назад голову, чтобы рассмотреть его лицо. Истовехонький отец! Только глазами да чернявостью в нее...

Неожиданно смутная догадка пришла ей в голову:

– Может, в первый жар хочешь? Пока мы собираемся, успеешь.

Она заметила, как вспыхнули глаза у Мишки.

– Я мигом, я сейчас!

Хлопнули двери, ворота...

Так и есть – матери стыдится.

Лизка, давно уже наблюдавшая эту сцену, во все глаза глядела на мать. Она была уязвлена в самое сердце. Как? Он лоботрясничал весь вечер, да ему же и в первый жар!

– Я тоже с ним пойду.

– И я, и я... – всполошились малыши.

Анна не могла сдержать улыбку:

– Не выдумывай, глупая. Пускай один моется.

Усмешка матери окончательно сразила Лизку. Губы ее задрожали, и она расплакалась:

– Ты меня нисколько не жалеешь. Все Мишка да Мишка, а он ничего не делает. А я пол вымыла... И сегодня Надежда Михайловна говорит: есть ли, говорит, у тебя, Лиза, другое платье? А ты рубаху Мишке сшила...

– Ох, с тобой еще горе, – вздохнула Анна.

– И вовсе не горе, – еще больше расплакалась Лизка. – Я у тебя все глупая да глупая...

А люди-то меня все умной называют. И давеча Семеновна корову доила. Коль уж ты, говорит, заботливая, Лиза...

– Да нет же, нет... – Анна притянула к себе девочку, обняла. – Ты у меня умница, самая расхорошая... Вишь, какая мамка – девка пол вымыла, а она и не заметила. А Мишку я нарочно послала раньше всех. Чтобы не мешал. А без тебя я как же управлюсь?

...Перемыв одного за другим малышей, Анна отправила их с Лизкой домой, а сама еще осталась в бане стирать белье. Потом развесила его над каменкой, чтобы к утру просохло, – и только тогда поплелась домой.

Ребята уже спали. На столе – посуда, ложки. Она заглянула в одну крынку, в другую, – молока нет, съела несколько холодных картошек и с трудом добралась до постели. Уже лежа, подоткнула одеяло вокруг детей, притянула к себе Татьянку.

«Мишка матери стыдится», – пришло ей снова на ум, и тотчас же все закружилось и закачалось перед глазами.

Во сне ей снился Иван, их прежняя молодая жизнь. То она видела, как они вдвоем шагают по высокой пахучей ржи, то вдруг они оказались на лугу среди цветов. И так ее разморило от жары, что нет моченьки ни рукой, ни ногой пошевелить. А Ваня обнимает, ласкает ее.

«Иван, Ваня, у нас дети большие...» – «Да спят, спят они», – смеется Ваня. «А Мишка-то, Мишка-то, – с испугом шепчет она. – Слышишь, слышишь, барабанит?»

Тут она проснулась. В избе было утро. В окно стучал бригадир.

– Иду, иду... – откликнулась Анна, приподнимаясь с постели.

Глава четырнадцатая

Сев зерновых подходил к концу. В последние дни люди почти не ложились: днем работали на колхозном, а по вечерам и ночью возились на своих участках.

Измученных за день лошадей приходилось тащить волоком, да и тех не хватало. Выкручивались кто как мог: кто приспособливал свою коровенку, а кто посильнее – сбивался в артели; подберутся бабы три-четыре, впрягутся в плуг и тянут. Но больше всего налегали на лопату.

Анфиса бегала, уговаривала: подождите денек-другой, управимся с колхозным и вам пособим. Но люди словно осатанели: на задворках, у загуменья, всю ночь звенели, стучали лопаты, хрипели, надрываясь в упряжке, бабы, бились в постромах худые, очумелые коровенки. Ребятишки – зеленые помощнички – жгли костры, пекли проросшую картошку, а днем сидя засыпали за партой...

Степан Андреянович со дня на день откладывал свой участок: как-никак бригадир, да и большая ли у него усадьба на два едока – вся под окошками, но в конце концов уступил Макаровне.

– Что уж так-то, – выговаривала она ему каждый день, когда он приходил с поля. – Время уходит, а у нас как на погосте, глаза бы не глядели. Земля-то чем виновата...

Всю весну Макаровна не переступала порога своей избы. Пока метался в горячке Степан Андреянович, она еще кое-как бродила по избе, а встал старик и слегла в тот же день.

Днем лежала на койке, целыми часами грезилась своим Васенькой. Иногда просила мужа посадить ее к окну, и весь день, пока не вернется старик с поля или не зайдет какая-нибудь старушонка, сидит одна у окна, глядит на свой огород, на подсыхающую под горой луговину, на далекую холодную Пинегу.

Пусто, тоскливо стало в доме Ставровых. Раньше хоть Егорша голос подаст, а теперь и Егорши нет. Мать вытребовала на посевную. Могла бы обойтись без сына, одна живет, да Степан Андреянович не стал упрашивать: никогда не лежало у него сердце к дочери, а с тех пор как выдали ее замуж в чужую деревню, и совсем чужой стала. Только по большим праздникам за столом и встречаются.

Старик устало шагал за плугом и не узнавал себя. С какой, бывало, радостью и ожесточением набрасывался он на свой огород, унавоживал – выгребал навоз до последней лопаты, а уж землю-то холил – перебирал руками чуть ли не каждую горсть. А сейчас – хоть бы и вовсе ее не было... На горках часто останавливался, примечал развалившуюся изгородь за листовницей, осевший угол бани. Все разваливается, на глазах рушится, надо бы поправить, да не все ли равно... Много ли им со старухой надо? Потом спохватывался: Макаровна сидела у окна, – и снова бороздил огород.

Степан Андреянович обрадовался, когда на дороге возле огорода показался Мишка Пряслин. Шел он враскачку, заложив руки в карманы штанов, слегка ссутулившись, – видно, оттого, что стыдился своего не по годам большого роста.

«Вылитый отец, – подумал Степан Андреянович. – Вишь, идет, как на качелях качается».

Он остановил лошадь, подошел к изгороди. В белесых сумерках вечера (стояли белые ночи) ему бросилось в глаза злое, сердитое лицо парня.

– Нам бы лошадь какую участок вспахать... – не здороваясь и не глядя на него, буркнул Мишка.

– Лошадь? А что, на конюшне нету?

– Спрашиваешь? Порядки-то кто заводил? Без твоего приказа конюх не даст.

– Теперь даст... Считай, отсеялись. А как, Михайло, с семенами? – окликнул его Степан Андреянович. – Не пособить?

Мишка резко обернулся, смерил бригадира холодным, презрительным взглядом:

– Нет уж, знаем твою подмогу. Не маленькие!

Степан Андреянович сплюнул, выругался про себя: «Весь, щенок, в мать. Та с рукавицу, а гордости с воз. Ходит ноне, нос воротит. Вишь, и парня настропалила. Ну поругал на днях, погорячился... Да как же? Ее ждут с поля, а вместо нее, на-ко, – Настасья, да еще отчитывать: на детишек послабленья не даешь. А немец спрашивал нас про детишек?..»

Покончив с огородом, Степан Андреянович отвел лошадь на конюшню, зашел в правление. В общей комнате – одна Анфиса. Она сидела за столом, подперев рукой голову, в старом ватнике, в платке, – видно, что недавно с поля.

– Ну, председатель, вари пиво, завтра кончаю, – попробовал пошутить Степан Андреянович.

– Тут, сват, и без пива голова кругом...

За приоткрытой дверью в бухгалтерской рассыпался жиденький смешок.

– Опять все бумаги смял. Не мешай ты, не мешай, – притворно, повизгивая от удовольствия, выговаривала женщина.

Степан Андреянович вопросительно взглянул на Анфису.

– Счетоводша Олена с кавалером своим... Николаем Семьиным. Я примечаю, вроде уже беременна.

– Экая срамота! – покачал головой Степан Андреянович. – Люди на войне... Да ведь у нее, кажись, Петька женихом был?

Анфиса вяло махнула рукой:

– Говорила. И слушать не хочет. За работу, говорит, взыскивайте, а здесь я вам неподотчетная.

Степан Андреянович вздохнул, сел к столу. Лицо Анфисы показалось ему слишком уж нехорошим: под глазами чернота, нос заострился – краше в гроб кладут.

– Ты, Петровна, нездорова али так... нелады какие?

– Будешь нездорова! Сейчас из райкома звонили, спрашивают, сколько сверх плана даем, а у нас... ох!

– Да что у нас? Время еще терпит. По навинам сколько пустоши лежит.

Анфиса встала, прикрыла дверь в бухгалтерскую, перешла на шепот:

– Тебе первому, сват, говорю. Тут не то что сверх плана – остатки не знаешь как засеять.

– А что так?

– Семян нету.

– Как нету? Куда им деваться?

– То-то и оно, что куда. Давеча пошла с кладовщицей последний сусек выгребать, заехала рукой, а там семян-то на полметра, внизу доски. А я-то, дура, за полный сусек приняла от Лихачева.

– Да за такие дела, – побагровел Степан Андреянович, – Харитона судить мало!

– Спросишь с него. В районе ему снова вера. Опять обозом в леспромхозе заправляет. Да и чем докажешь?

– Ну тогда с Клевакина! Он заправлял всем при Харитоне.

– Вывернется... Скажет: знать ничего не знаю, бумаг не подписывал, и делу конец. Ох, тошнехонько! – Анфиса схватилась за голову. – Что же было неграмотную бабу ставить. Говорила на собранье – не послушали.

Дверь в бухгалтерскую снова приоткрылась. Послышалось ленивое пощелкивание счетных костяшек.

– Ежели рассудить сочувственно, – степенно говорил «специалист по тонкой работе», – то у нас самая что ни на есть настоящая любовь. За мной не пропадешь, Олена Северьяновна. Специальность моя такая...

Степан Андреянович вскочил, захлопнул дверь.

– И что же ты надумала, девка? – спросил он, помедлив.

– Не знаю, сват.

– А ежели к районным властям в ноги? Так и так – начистоту? – предложил после некоторого раздумья Степан Андреянович.

– Думала... Да какие у них семена? Не такое время теперь. А в соседних колхозах у самих в обжим.

– Тогда уж не знаю. Разве что хозяев обложить? Раз война – плачь да затягивай ремень.

– Нет, лучше бы без этого... Я вот свое и не посею – ничего, а у других семья, куда без своего!

Степан Андреянович опять погрузился в раздумье, потом вдруг вскинул голову:

– А много ли у тебя, сватья, своих семян? С мешок?

– С мешок небольшой. Было до двух, да я Анне Пряслиной посулила.

«Дак вот отчего парень давеча нос задирал», – вспомнил Степан Андреянович разговор с Мишкой.

– А сколько надо, чтобы отсеяться? Мешков семь?

– Да и шести бы хватило.

– Тогда вот что... – Степан Андреянович заскрипел стулом, навалился на стол. – Твой мешок да мой мешок – вот уже два. А остальное по горсти, по зерну соберем. Неужто кто откажет?

Назавтра, к полудню, было собрано восемь мешков семенного зерна. Софрон Игнатьевич, Марфа Репишная, Варвара Иняхина и еще некоторые колхозники отсыпали половину своих семян. У многосемейных решено было не брать, но мало нашлось таких в Пекашине, которые хоть сколько-нибудь да не оторвали от себя.

Федор Капитонович сначала струхнул, раза два обежал людей из своей бригады, на все лады понося безмозглого Харитошку, а потом и сам принес неполное ведро зерна.

– Ты уж не обессудь, Петровна, – говорил он в амбаре, встретясь глазами с Анфисой. – Чем богаты, тем и рады... Ну да я так понимаю: дареному коню в зубы не смотрят.

Зато на заседании правления Федор Капитонович первый подсказал, куда разбросать оставшиеся семена.

За три дня было распаханно и засеяно несколько пустошей у Сухого болота.

Последнее поле досевали вечером. Людей собрали из разных бригад покрепче да повыносливее. Надо было рубить лопатой тяжелые плиты дернины, вытряхивать клочья, сносить их на промежек. Над полем стояла густая едучая пыль. Работали молча, торопились домой – обмыть в бане грязь, скопившуюся за посевную. Только Варвара Иняхина, совершенно не выносившая безмолвия, нет-нет да и скажет что-нибудь.

– Эх, кабы по старым временам, – вздохнула она, разгибаясь, – теперь бы на неделю гулянья.

– Ты сперва с картошкой управься, гулена! – прикрикнул на нее Трофим.

– И что ты, Трофимушко, – бойко, без всякой обиды отвечала Варвара, – под рюмочку картошечка сама бы под соху ложилась!

– Варуха, наводи красу, – громыхнула Марфа, – мужики идут!

– Ты уж скажешь, Марфинька, – притворно застыдилась Варвара, но, увидев на дороге Лукашина и незнакомого мужчину, стала торопливо одергивать платье.

– Видно, начальство какое, – высказал предположение Степан Андреянович.

– Начальство начальству рознь! – не упустил случая поддеть своего дружка Трофим. – Этот – крупного калибра! Вишь, шагает, что землю печатает.

– Это Новожилов, новый секретарь райкома, – улыбнулась Анфиса, вытирая руки о передник.

Новожилов был широк и тучен, как застарелая сосна, вымахавшая на приволье. Толстые икры распирали голенища пыльных сапог. Когда он приблизился, все обратили внимание на его крупное, отечное лицо, покрытое капельками пота.

– Ну, товарищи, отсеялись?

– Отсеялись, – сдержанно ответили колхозники, с любопытством рассматривая новое начальство.

– Поздравляю, поздравляю! – Новожилов крепко и деловито пожал всем руки, повернулся к Анфисе: – А сколько сверх плана, председатель?

– Гектара четыре.

– Ну вот, видите, – подобрел сразу Новожилов, – а вы какой переполох подняли.

– Засеять-то засеяли, – сказала Анфиса, – да что взойдет... Земля тут званье одно...

– Ничего, – беспечно вскинула голову Варвара, явно желая обратить на себя внимание начальства. – На земле не вырастет, на слезах взойдет.

– Да уж верно, что на слезах, – мрачно согласилась Марфа. – Из глотки вынимали да сеяли.

Новожилов сжал челюсти, тяжелым взглядом обвел дернистое поле.

– Нет, товарищи! – сказал он задумчиво. – Это не только слезы. Это наша сила. Сила колхозная, против которой Гитлеру не устоять. Это гектары нашей победы!

Анфису кто-то уже несколько раз дернул за рукав. Она обернулась. Перед ней белее платка стоял Митенька Малышня.

– Ивана Кирилловича... Ваню-силу убили...

Глава пятнадцатая

Над Пекашином всю ночь выл, метался злой сиверок. Гнулись, припадали к земле иззябшие, страшные в своей нагоде деревья, жалобно вызванивали стекла в рамках, тоскливо взмыкивала во дворе голодная скотина, не чаявшая дожидаться теплых дней.

И всю ночь на полу, уткнувшись головой в подушку, охала, стонала раздавленная горем Анна.

Глухие, надрывные стоны матери рвали Мишкино сердце, и он лежал, стиснув зубы, весь в горячей испарине.

Затихла она под утро. Мишка с трудом, как после долгой болезни, приподнялся, сел на край кровати, откинул со лба мокрые волосы.

Светало. Маленькие околенки полыхали холодными отблесками зари, из рукомоиника у порога тупо капала вода.

Осторожно ступая босыми ногами, он подошел к матери. Она лежала ничком, вдавив лицо в мокрую подушку и судорожно обхватив ее руками. Старенькое, рваное с подола платьишко взбилось выше колен, на ногах грязные, перепачканные глиной сапожонки, байковый плат на голове – свалилась, в чем была, да так и забылась. Мишка принес с койки свое одеяло, бережно прикрыл мать.

Он смотрел на нее, и слезы текли по его лицу. Никогда он не задумывался, какая у него мать. Мать как мать – и все тут. А она вот какая – маленькая, худенькая и всхлипывает во сне, как Лизка. А возле нее по обе стороны рассыпанной поленницей ребятишки: белоголовая Татьяна с протянутой к груди матери ручонкой; Лизка с распухшим, посинелым лицом – эта все понимает; Петька и Гришка, прижавшиеся друг к другу; толстощекий, разогревшийся во сне Федюшка.

Молча, глотая слезы, Мишка переводил взгляд с сестренок на братишек, и тут первый раз в его ребячьем мозгу ворохнулась тоскливая мысль: «Как же без отца будем?..»

За домом, где-то на задворках, одиноко взывала, давясь от страха, собака. Брякнуло на крыльце, сорвавшись с гвоздя, пустое ведро и с грохотом покатилося по ступенькам. И тотчас же за окнами взметнулся вихрь. В облаке пыли и песка вставало солнце.

Потом Мишка опять лежал на кровати, думал об отце, пытался представить его на войне, в бою, в атаке – и никак не мог.

Перед глазами всплывало совсем-совсем другое. То ему припоминалось, как в первый раз отец сажал его на коня... Конь здоровенный, высокий, ему, Мишке, радостно и жутко, он хватается руками за гриву, но крепкая рука отца выпрямляет его. «Не робей, Мишка!» То он видит себя с отцом на сенокосе, в густых зарослях травы, то – сидящим на высоком возу среди пахучих ячменных снопов. И сзади опять веселый, ободряющий голос отца: «Держись на повороте!» Потом ему припомнилось жаркое летнее утро. Отец в черной сатиновой рубахе – он как сейчас видит эту черную, лоснящуюся на солнце рубаху – размашисто колет у крыльца дрова. Рядом мать с подойником, спрашивает: «Попей хоть молока на дорогу...» А слезы так и катятся по ее лицу.

Внезапно утреннюю тишь резануло бабьими вскриками да причитаньями, затарахтели телеги. Мать, расплескивая молоко, кинулась в избу.

Отец втюкнул топор в чурбан, прислушался. Потом долго глядел на Мишку и наконец тихо сказал: «Пойдем-ко, сынок...»

И вот они в огороде, за амбаром. Отец опять глядит на него, хочет что-то сказать. Но в это время из-под крыши амбара выпорхнул воробей. «Гнездышко! – зашептал Мишка. – Давай я слазаю». – «Не надо...» – поморщился отец. «Иван, Ваня... Где ты?» Это мать. Отец махнул

рукой и пошел к дому. У калитки он круто обернулся, привлек к себе Мишку и, заглядывая ему в глаза, спросил: «Ты понял меня?.. Понял, сынок?»

Что же он хотел сказать? Что?

Мишка так и заснул, не найдя ответа.

Утро в избе Пряслиных началось с обычного вскрика:

– Ма-ма-а, исть хочу!

Охая, Анна медленно поднялась с постели, побрела затоплять печь. Потом она машинально, по привычке, бралась то за одно, то за другое, как в тумане ходила по избе. Ребятишки пугливо жались по углам, а Мишка молча, закусив губу, чтобы не разрыдаться, делал начатое ею, ходил по пятам за матерью, и у него не было сил взглянуть ей в лицо.

Когда он пришел с водой от колодца, в избе была Анфиса Петровна. Она что-то говорила матери, но та, сидя на лавке, только мотала головой.

– Ничего... ничего не знаю...

– Я говорю матери, – обратилась Анфиса к Мишке, – может, хлопотать будем, чтобы этих-то трех, – она указала на Петьку, Гришку и Федюшку, – в детдом взяли?

Присмирившие ребята немо уставились на старшего брата. Он тяжело задыхался, опустил глаза... Босые, с ранней весны потрескавшиеся от воды и грязи ножонки...

– Нет, – резко вскинул он голову, – никуда не отдадим!

Вскоре после Анфисы Петровны пришел Степан Андреянович. Он нерешительно стал у порога и сквозь застилавшие глаза слезы смотрел на несчастную Анну, неподвижно сидевшую на лавке с опущенной головой, на осиротевших, пришибленных горем детей.

Лизка, сняв с коленей Татьянку, подошла к матери, дотронулась до нее рукой:

– Мама, бригадир пришел.

Анна подняла голову, суетливо заглядывалась по сторонам:

– А?.. Бригадир?.. Я сейчас... сейчас... – И стала торопливо подвязывать плат.

Лизка заплакала. Мишка отвернулся.

– Анна, что ты... что ты, Анна... Какая тебе сегодня работа?

Степан Андреянович шагнул к ней, обнял за плечи.

Она увидела его вздрагивающий рот, слезы, текущие по измятой бороде, и вдруг со стоном припала к его груди, затряслась в рыданиях. Ее облепили со всех сторон ребятишки и тоже заголосили навзрыд.

Степан Андреянович черствой, загрубелой ладонью гладил по голове Анну, гладил ребят и, сам давясь от слез, приговаривал:

– Вот так... так-то лучше... Ничего, ничего... такая уж наша судьба...

Уходя, он поманил за собой Мишку. В сенях указал на темный угол:

– Там в мешке я мучки принес, – и, тяжело ступая по скрипящим половицам, вышел на улицу.

Два дня спустя Пряслины в глубоком молчании садились завтракать. До сих пор пустовавшее за столом место отца занял Мишка. Лизка, завидев это, заголосила:

– Нету у нас папы, мамонька...

Анна строго взглянула на нее:

– Перестань.

Мишка, не дыша, весь сжавшись, исподлобья глядел на мать. Анна с удивлением посмотрела на сына, смахнула с лица слезу и молча кивнула головой.

Мишка выпрямился и, медленно, посуровевшим взглядом обведя примолкших ребят, стал по-отцовски резать и раздавать хлеб.

Глава шестнадцатая

Отсеялись, отмучились с грехом пополам – ждали лета, но тут началось самое страшное: из-за навин опять дохнул сиверок. Свирепыми утренниками прибило первые жалыца зеленой молодежи, до черноты опалило крохотную завязь на деревьях. Небывалый ветер бесновался в полях – пыль столбами крутилась над пашней. На Широком холму по крутоярам до каменной плещи выдуло почву, – прожорливая птица клевала беззащитное зерно.

От рева голодной скотины можно было сойти с ума. И чего только не делали, как только не бились люди, чтобы спасти животных! День и ночь рубили кустарник, косили прошлогоднюю ветошь, драли мох на старой гари, отощавших коров подымали на веревках, привязывали к стойлам, – и все-таки от падежа не убереглись.

По вечерам, когда над черной хребтиной заречного леса вставала луна огромная, докрасна раскаленная, жуть охватывала людей. Откуда-то с перелесков стаями налетало голодное воронье и всю ночь до утра, оглашая деревню зловещим карканьем, кружило над скотными дворами.

Престарелые старухи, на веку не видавшие такой беды, суеверно шептали:

– Пропадем... конец света приходит...

И Анфиса, слыша это, ничем не могла утешить людей. Ее саму, крепясь, утешал Степан Андреянович:

– Ничего, в шубе сеять – в рубашке жать...

Так прошла неделя.

И вот однажды утром, когда отчаявшиеся люди уже потеряли всякую надежду на приход лета, сиверок внезапно стих. Из-за свинцовой мути робко и неуверенно проглянул голубой глазок неба. Потом вдали, за белыми развалинами монастыря, глухо бухнуло – темные, тяжелые тучи поползли на деревню. Они ползли медленно, грозно клубясь и властно разрастаясь до самого горизонта. Над Пекашином стало темно и немо. Даже голодная скотина и та притихла в ожидании. И вдруг оглушительный грохот сотряс землю...

По всей деревне захлопали двери, ворота. Люди – в чем попало – выбегали на улицу, ставили ушаты под потоки и под проливным дождем радостно перекликались друг с другом. По вспененным лужам, как жеребята, носились босоногие ребятишки, всю весну высидевшие дома.

Началось короткое северное лето.

В ближайшие дни Лукашин, обосновавшийся в Пекашине не то в роли постоянного уполномоченного райкома, не то в роли фронтовика-отпускника (все щадили его), выбрался в навины. То, что он увидел, походило на чудо.

По влажным, курящимся легким паром полям с проклюнувшимися всходами, по обочинам дорог и тропинок, опущенных нежнейшей зеленью, по ожившим перелескам – повсюду шагало ликующее лето. И не было ему никакого дела ни до войны, ни до человеческих горестей.

Выбрасывали лист деревья; оттаявшие комары, еще без нудного звона, столбами вились над истлевшими кучками прошлогоднего навоза; на ветках, линиях, чистились птицы, – белый пух летел на влажную землю. Все, все справляло запоздалый праздник лета. Даже молодой сосняк, хмурый и равнодушный к радостям, как истый северянин, и тот стыдливо топорщился розоватыми свечками, присыпанными белой мукой.

Из-под ног Лукашина то и дело вспархивали пучеглазые лягушата, неуклюже, плашмя шлепались в парные лужицы, кишмя кишевшие разной водяной мелочью.

Возле старой дуплистой ивы, росшей на самой развилке дорог, Лукашин, привлеченный необычным гулом вверху, остановился. Над желтыми мохнатыми сережками, которыми были сплошь облеплены черные крючковатые ветки дряхлеющего дерева, огромным роєм трудились

неповоротливые, видимо первый раз вылетевшие из дупла дикие пчелы, или, по-местному, медуницы. Тут же под ивой, пригретые солнцем, весело копошились вечные работяги-муравьи, занятые устройством своего хозяйства.

Дохнул ветерок – теплая медвяная пыльца запорошила лицо Лукашина. Две-три сережки упали в самую гущу муравейника. Лукашин с любопытством наблюдал, какой переполох поднялся в муравьином царстве. Вокруг сережек закипело яростное сражение. А на помощь смельчакам, первыми вступившим в бой, со всех сторон, карабкаясь друг на друга, спешили все новые и новые полчища муравьиного люда, бог весть когда и как оповещенного, – и скоро обглоданные остовы сережек были надежно уложены в муравьиное здание.

Смутные раздумья, далекие, нездешние воспоминания стеснили Лукашину сердце. Но вокруг было так славно, так хорошо, что скоро его опять захватила радость бытия.

В глухом, темном ручье он сполоснул сапоги, затем неторопливо, вдыхая еловую прохладу ручья, поднялся на пригорок и вдруг замер на месте.

Перед ним, вся подернутая зеленой дымкой, играла, искрилась на солнце молодая березовая рощица. Ни с чем не сравнимое чувство целомудренной чистоты, восторженного удивления и даже робости охватило его. Так бывало с ним и раньше.

Совсем незадолго до войны ему довелось побывать на Кавказе. Море сказочное, снежные горы в розовых лучах, кипарисы взлетают в синее небо. Из каждой расщелины прет буйная, толстокожая зелень, а воздух так густ и прян, что, кажется, одним им можно насытиться. И нищей и жалкой показалась ему северная земля, обделенная солнцем. И все-таки нет-нет – он это помнит – да и взгрустнется ему...

В прохладном сумеречном Подмоскovie, когда за окнами замелькали желтые рощицы на зеленых лужайках, он понял: ему не хватало вот этих самых, таких обыкновенных берез. И все его соседи по вагону, которые всю дорогу не переставали восхищаться красотами Кавказа, вдруг присмирели, притихли и так же, как он, не отрываясь смотрели за окно.

Может, слышал он или читал где, но ему крепко запомнилось поверье, будто в Сибири до прихода русских не было березы. И вот сейчас, с волнением всматриваясь в эти веселые белоснежные деревца, он представил себе пути-дороги русского человека по земле, отмеченные березовыми рощами.

Да, уж такой наш человек: не успел еще первый дымок над крышей взвиться, а смотришь – где-нибудь у крылечка уже полощется на ветру тонколистая береза. И куда, на какую чужбину ни закинь судьба русского человека, хоть в самые теплые заморские края, где и зимы не бывает, а все холодно и неуютно на душе без тебя, береза...

Где-то в перелесках глухо и неуверенно попробовала свой голос кукушка и смолкла.

«Немного же ты отсчитываешь нынче годочков», – подумал Лукашин.

Но затем кукушка словно одумалась и долго и щедро вещала свои пророчества.

Глава семнадцатая

Парусиновая сумка и кепка с порога полетели на кровать. Все! Худое носатое лицо Мишки, до черноты прокопченное вешними ветрами, омывала широкая радостная улыбка. Еще бы! Приговорили к осенним экзаменам, а он взял да и утер всем нос. Прямо-таки штурмом взял грамматику! Семь дней и семь ночей долбил. Да если бы он столько зубрил, сколько эта Дунярка, еще неизвестно, кто был бы первым учеником.

Мишка сорвал с вешалки старую, побелевшую от стирки и носки отцовскую гимнастерку, натянул на себя, затем принялся за сапоги. Сапоги эти с широченными отворотами – в аккурат как у французского мушкетера – Мишкина гордость. Сам смастерил. Отрезал от старых отцовских сапог голенища, примастачил к кожаным башмакам, – вот и сапоги: не надо каждый раз со шнурками возиться, а при случае и в воду забрести можно.

Переодевшись, Мишка не спеша подошел к старенькому, засиженному мухами зеркалу. В отцовской гимнастерке с закатанными рукавами (она висела на нем, как на жерди), с большим охотничьим ножом на ремне, в сапогах необыкновенного покроя, за голенищами которых можно было легко спрятать все его личное имущество, он показался себе достаточно внушительным и взрослым.

Выходя на крыльцо, Мишка принял строгий и серьезный вид.

Внизу на песке, пригретая солнышком, рассыпалась босоногая детва. Лизка с засученными рукавчиками, наклонившись над толстым, узловатым чурбаком, стряпала глиняные колобки. Делала она это с великим старанием: потяпает глину руками, поплюет, снова потяпает, потом пересыплет мелким белым песочком и сунет в «печь» – старую, проржавленную железину, одним концом воткнутую в щель стены.

Петька и Гришка, два молчаливых русоволосых близнеца, до того похожие друг на друга, что их вечно путали соседские ребята, подносили ей в баночках воду, – ее они черпали из лужи, заметно ожившей после дождя. Несколько поодаль от Лизки, на песке, сидел ни на кого не похожий в семье, рыжий, как подсолнух, Федюшка. Он был явно не в духе и, надув губы, исподлобья, сердито поглядывал на Лизку. У ног его барахталась довольная, вся вывалявшаяся в песке Татьяна. «Ага, Федор Иванович, – улыбнулся Мишка, – это ты сегодня за няньку!» Когда Татьяна слишком отползала в сторону или, наоборот, назойливо лезла к нему, Федюшка, изловчившись так, чтобы не видела Лизка, хлопал ее по голому задку, но Татьяна только смеялась.

«Вот хитрюга...» – с одобрением подумал Мишка, питавший особое расположение к этому рыжему разбойнику.

– Ну что, мелкота, играем? – снисходительно сказал Мишка, спускаясь с крыльца и шурясь от солнца.

– Иди и ты играть, Миша, – несмело предложили Петька и Гришка.

Мишка недовольно нахмурился. Что они, не понимают, с кем имеют дело? Он подошел к Лизке, носком сапога указал на чурбак, заставленный разными черепками и черепушками:

– А ну убери. Дай посидеть человеку.

– Вот еще, – огрызнулась Лизка, но чурбак освободила.

Мишка важно расселся, по-взрослому закинул ногу на ногу.

Лизка и братья с тревогой и любопытством уставились на него, подошел даже Федюшка, – он, видимо, решил, что сейчас свободен от присмотра за Татьянкой.

Мишка не торопясь вытащил нож и, незаметно поглядывая на малышей, стал срезать на руках ногти. Ребятишки с раскрытыми ртами следили за тем, как он ловко и бесстрашно орудует охотничьим ножищем. И ему льстило это восторженное отношение к его особе. Чем бы еще паразитить этих сусликов?

Он достал из кармана гимнастерки щепоть завалившегося самосада, свернул сигарку и, на глазах изумленных малышей, выбил искру. Вышло, однако, совсем не так, как ему хотелось. С первой же затяжки он закашлялся, слезы показались на его глазах.

– Табак худой, – давясь от дыма, проговорил Мишка, как бы оправдываясь.

– Я вот мамушке скажу, – пригрозила Лизка. – Она тебе покажет, курителю.

Мишка, не ожидавший такой реакции, смутился, но сразу же оправился.

– А мне мамка что... – независимо пожал он плечами. – Я самый сильный в школе.

Он помедлил, стараясь подобрать наиболее веские слова, и вдруг, выпрямившись, приказывающим тоном сказал Лизке:

– Бежи в избу, принеси какую-нибудь нитку!

Та переглянулась с братьями, но ослушаться не посмела. Когда нитка была принесена. Мишка еще выше закатал рукав на правой руке, туго перетянул ее суровой ниткой. Ребята вплотную обступили его, вытянув шеи, ловили каждое его движение.

– Ну, смотрите, мелкота, – сказал довольный Мишка. – Такого во всю жизнь не увидите.

Он напрягся так, что черные густые брови у него сошлись над переносицей, и медленно, скрипя зубами для пушшего эффекта, стал сгибать в локте сжатую в кулак руку.

– Раз!

Ребятишки ахнули. Впившаяся в бицепс нитка лопнула.

Мишка встал и с видом человека, привыкшего к восторженному отношению к своим поступкам, лениво цыкнул слюну сквозь зубы.

– Видали? А ты еще – мамке скажу! – пренебрежительно бросил он Лизке.

Малыши вслед за ним с осуждением посмотрели на пристыженную сестру.

– Ну, играйте в свои черепки, да чтобы у меня все тихо! Поняли? – И Мишка важно, вразвалку зашагал на задворки.

Но, сделав несколько шагов, он обернулся, поманил к себе Лизку. Братья несмело потянулись за ней.

– Ты вот что, Лизка... – начал он, с пристальным вниманием разглядывая у ног какую-то палку, – ты лучше мамке-то не говори. Я ведь это так... шутейно.

Но тут Мишке стыдно стало, что он снизошел до упрощения какой-то мелюзги, и, приняв воинственную позу, он погрозил пальцем:

– Чтоб у меня ни гу-гу! Поняли?

– А ты чего за это дашь? – неожиданно спросил не по годам практичный Федюшка.

– За что?

– А за то, что мамке не будем сказывать.

Мишка присвистнул от удивления, рассмеялся:

– Ты, как Федор Кротик, из всего выгоду норовишь сделать. Ну ладно. На сенокос пойду, девкам зайка поймаю, а вам, мужичье, кивнул он ребятам, топорик скую. Идет?

Петька и Гришка, никогда не проявлявшие бурно своих чувств, на сей раз загоревшимися глазами посмотрели друг на друга. Лизка живехонько обернулась к Татьянке – та неуверенно, толчками двигалась от крыльца – и, протянув к ней руки, закивала головой:

– Зайко, зайко у нас с Танюшкой будет.

Один Федюшка не поддался соблазну. Сопя себе под нос, он мучительно соображал, какая доля ожидает его в заключаемой сделке, и, видимо, оставшись недоволен ею, поднял на брата глаза:

– А ты еще один топорик сделай – маленький-маленький.

– Это зачем же?

– Мне... Я первый хотел сказать мамке.

– Ну ты, одиноличник! Смотри у меня! – повысил голос Мишка и щегольнул недавно услышанной поговоркой: – Ново дело – поп с гармонью.

Решив, что с малышами все улажено, Мишка отправился по своим делам.

А дела у Мишки известны. Прилепился он всем сердцем к кузне, – кажется, дневал и ночевал бы там. А после того как его увидела за мехами сама Анфиса Петровна и пообещала начислить трудовни, Мишка стал сам не свой.

В последние дни они с Николашей важнецкую штуковину придумали: из старья, из двух заброшенных косилок собрать новую машину. Ох, если выгорит это дельце – тогда посмотрим, какие он номера будет загибать на сенокосе!

Старая, наполовину вросшая в землю кузня стояла за колодцами, у самого болота. Мишка еще издали, от задворок, увидел стены, навес, заставленный плугами, боронами и разными машинами.

Ворота, как всегда, раскрыты настежь. В черной глубине клокочет пламя; отсветы его лижут шуплую фигуру Николаши, склонившегося над наковальной.

Мишка мог бы с закрытыми глазами рассказать о каждом уголке прохладных, подернутых вечным сумраком недр кузни. Вот старые мехи, на вершок покрытые пылью, вот колода с застоявшейся, прокисшей водой (в ней вечно мокнут щипцы), вот верстак у маленького окошечка, заваленный множеством разных инструментов; за верстаком в темном углу куча железного хлама, и над ним седые космы дремучей паутины...

Приближаясь к кузне, Мишка с жадностью потянул единственный в своем роде воздух, какой держится около деревенской кузницы, – удивительную смесь древесного угля, горелого, с кислинкой железа и чуть-чуть прижженного вокруг дерна от постоянно сыплющихся сверху искр.

– Сдал? – обернулся на его шаги Николаша и оголил в улыбке белые зубы на худом, угреватом лице.

– А то нет! Спрашиваешь...

Николаша бросил в колоду вместе со щипцами какое-то железное кольцо, над которым только что трудился, обмыл в колоде руки и, вытерев их о передник, покровительственно похлопал своего подручного по плечу:

– Ну это ты молодец! По-нашенски. Значит, теперь на все лето в кузнечный цех? Так?

После этого он неторопливо, с чувством собственного достоинства прошел к порогу, сел.

«Ох, – вздохнул про себя Мишка, – начнет сейчас воду в ступе толочь». Но делать было нечего, и он тоже присел рядом.

Николаша вытащил из кармана брюк новенький, красного шелка кисет с зеленой лентой, подмигнул:

– Видал?

– Ну?

– Кралечка одна подарила... Раскрасавица! Ну просто аленький цветочек, – сладко зажмурился Николаша. – А волосы какие... шелк... густые-густые.

– Хы, – презрительно усмехнулся Мишка. – У кобылы хвост еще гуще.

– Не понимаешь ты красы, – обиделся Николаша. – На, закуривай.

Мишка потряс головой:

– Не хочу.

– Ну как хочешь. Интересу упрашивать не вижу. Этот жадюга Кротик сорок рубликов за стакан содрал. Это же, говорю, Федор Капитонович, чистая эксплуатация. «Да ведь я, говорит, не за свои интересы, за государственные». Это как же, спрашиваю, за государственные? Обдираешь меня как липку, а выходит, я же радоваться должен! «А так, говорит, что эти денежки у меня в налог пойдут. Грех, говорит, для своего государства жалеть в такое время». Понял? – жиденьким смехом засмеялся Николаша.

Мишка нетерпеливо оборвал:

– Хватит тебе. Давай лучше за дело.

– Нда... – покачал головой Николаша, делая вид, что не расслышал Мишкиных слов. – А нынче знаешь что надумал Кротище? Весь огород под окнами табаком засадил. Куда, говорю, Федор Капитонович, столько? Тут, говорю, всей деревне нюхать не перенюхать. «Экой, говорит, непонятливый ты, Николай. А кто табачком район выручит? Сознательность, говорит, иметь надо».

– Дался тебе этот Кротик! – вскипел Мишка. – Говори лучше, чего принес из «Красного партизана». Дали косу?

Николаша встал и молча, обиженный, повел Мишку в примыкавшую к кузне избушку, где в великой тайне от всех собиралась сенокосилка.

Глава восемнадцатая

В вечернем воздухе тишь и благодать. Слышится бойкий перепляс молотков – в черной пасти кузницы бушует пламя.

Варвара, с любопытством посматривая вокруг себя и поигрывая крашеным коромыслицем, любовно отделанным для своей женушки пекашинским кузнецом Терентием – нынешним фронтовиком, не спеша идет к колодцу. Длинная тень пятнит мокрый лужок, тает в тумане, который белой куделью плавает над болотом. На Варваре пестрая сборчатая юбка, выгодно подчеркивающая ее гибкую, не по-бабьи тонкую фигуру, белая кофта с широкими с напуском рукавами до локтей.

Солнце садится на верхушки розового сосняка. Варвара слегка щурит глаза и с наслаждением, мягко, как кошка, опускает босые ноги в нагретый за день песок.

Набрав воды, Варвара повесила жестяной черпак с длинным шестом на деревянную стойку у колоды, из которой поили лошадей, и стала прилаживать коромысло к ведрам. В это время на глаза ей попался Лукашин – он шел к кузнице со стороны навин.

– Водички холодной не желаете?

Лукашин даже не оглянулся.

Варвара разочарованными глазами проводила его до ворот кузницы, презрительно наморщила нос: «Экой губошлеп, как на воде замешен. Сердце-то уж не чует, что к чему...»

Но в ту же минуту глаза ее заиграли шаловливым огоньком: «Ну погоди, голубчик. Так-то еще интересней».

Она скинула с плеч коромысло, воровато оглянулась вокруг и вдруг, схватив одно из ведер, опрокинула в колоду. Затем, все так же оглядываясь по сторонам, сняла черпак со стойки, подошла к срубам и с размаху погрузила его в колодец.

Убедившись, что конец шестика торчит на почтительном расстоянии от верхнего венца сруба, Варвара довольно рассмеялась, наскоро заправила кофту в юбку, скользнула мокрыми ладонями по волосам, оглядела себя в колоде с водой и не спеша, улыбаясь, направилась к кузнице.

– Ну как тут мужево хозяйство, Николай? – сказала она, входя в кузницу. – Тереша мой в каждом письме интересуется, как кузня поживает. Ох, да тут кто есть-то! – с наигранным изумлением воскликнула Варвара и ласково кивнула Лукашину, стоявшему у густо запыленного окна, возле верстаков, несколько позади Николаши и Мишки Пряслина. – Здравствуйте, здравствуйте.

Варвара слегка приподняла одной рукой юбку и, с подчеркнутым интересом присматриваясь к потолку, к верстакам, наковальне, к жарко раскаленному, потрескивающему горну, медленно обошла кузницу.

В этом царстве сажи и копоти белая кофта ее, на которую изредка падали отблески пламени, проплывала, как сказочный подснежник.

Заметив, что Лукашин не сводит с нее блестящих в темноте глаз, Варвара, довольная, обернулась к Николаше, который следовал за нею по пятам, милостиво сказала:

– Ну, успокою Терешу: подручный кузню не застудил.

– И боевой привет Терентию Павловичу, и чтобы он, значит, не беспокоился, инструмент в сохранности, – добавил Николаша.

По тому, каким серьезным тоном он это сказал, и по тому, с каким вниманием и даже подобострастием относился он к этой новоявленной инспекторше, видно было, что Николаша очень дорожил мнением своего бывшего начальника.

– А что тут одна лебедушка перышки свои обронила – тоже отписать? – вкрадчивым голосом заговорила Варвара и подмигнула Лукашину.

Простоватый Николаша не понял сначала намека, а поняв – для вида сконфузился:

– Ну, это как сказать...

– Ох, хитрюга, – погрозила ему пальцем Варвара. – Нет того, чтобы за женой начальника поухаживать.

– Да ведь тут дело такое – любовь... – покрутил головой Николаша.

Варвара с наигранной жалостью вздохнула – что уж сделаешь – раз любовь. Потом вдруг спохватилась:

– А я ведь на выручку пришла звать. Черпак в колодец уронила. Мишка, ты попроворней. Уж я тебя наобнимаю за это...

Мишка, как и предполагала Варвара, густо покраснел и, громыхая железом под ногами, кинул на нее свирепый взгляд:

– Иди ты со своим черпаком!

– Ну-ну, можно и без обнимки, – рассмеялась Варвара.

– Я могу пособить, – предложил свои услуги Николаша.

– Ну уж, – притворно вздохнула Варвара. – Олена узнает, что мы с тобой воду черпали... – Она стыдливо не договорила и выжидающе посмотрела на Лукашина, которого, как крапивой, ожег ее потаенный намек.

– Пойдемте, я помогу, – сказал он глухо.

У колодца Лукашин снял фуражку, подал Варваре:

– Ну-ка, хозяйка, держи...

Затем он поправил повязку на больной руке и заглянул в колодец. Конец шеста торчал метрах в полутора от верхнего сруба. Он нагнулся над срубом, потянулся здоровой рукой. Не достал. Снова потянулся – и снова не достал.

– Рука коротка, – сказал Лукашин, отдуваясь.

Варвару нисколенно не огорчила эта неудача. Вытянув шею, она кокетливо глядела на него из-под козырька фуражки и кончиком языка водила по верхней оттопыренной губе.

– Ну как, идет мне ваша шапочка? – спросила она, выпрямляясь и задорно вскидывая руки на бедра.

Лукашин скользнул по ее фигуре, по мокрой смуглой ноге, несколько выставленной вперед.

– Казак!..

– А может, казачихой мне остаться? – Варвара сощурила плутоватый глаз, сняла фуражку.

– Ну как, достали ведро? – выглянул из кузницы Николаша.

– Достали, достали! – закричала Варвара. – Посолонный дурак, тебя еще не хватало, – добавила она тише и, взглянув на смутившегося Лукашина, рассмеялась. – Держите шапочку. Не то уж мне попробовать. А то он и взаправду прибежит.

Она заглянула в колодец, дурачась крикнула:

– Чертышко, чертышко, отдай мне черпачок!

Не отрывая груди от мокрого сруба, она повернула улыбающееся лицо к Лукашину:

– Нет, даром-то не отдает...

Затем она опять влезла с головой в сруб. Натянувшаяся кофта выехала у нее из юбки, лопнула какая-то тесемка.

– Держите, держите! – с притворным испугом завизжала Варвара, взмахивая смуглыми ногами в воздухе.

Лукашин быстро нагнулся, обхватил ее за талию.

– Крепче! Упаду... – со смехом завопила Варвара.

Лукашин еще сильнее обхватил тело Варвары – горячее, извивающееся под его рукой.

– Ну вот, ухватила, – сказала Варвара, вставая на ноги.

Она вытащила черпак с водой, вылила в ведро, потом еще вытащила один черпак и не спеша начала заправлять кофту в юбку.

– А вы ничего... крепко ухватили...

Вытерев тыльной стороной руки напотевшее, покрасневшее лицо, она глянула в глаза шумно дышавшему Лукашину.

– Не знаю, как с вами и расплачиваться. Может, в баньку ко мне придете? По-старому сегодня суббота, я баню топлю. Такой, как моя баня, по всему свету поискать. – Варвара лениво потянулась всем телом. – Председательница-то у нас, смотрите-ко, – кивнула она на деревню, – тоже с баней разобралась.

Лукашин поглядел на дым, поднимавшийся из косогора.

– Пускай, пускай обмоется, – сказала со смехом Варвара. – А то мы с этим севом – срам, все грязью заросли. Скоро бабы в нас не признаешь.

Она снова облизала кончиком языка губы, с улыбкой, но деловито спросила:

– Дак вы в первый жар али как любите?

– Спасибо, я вчера помылся. А вот так, – тихо добавил Лукашин, – зайду с удовольствием.

– Ну и так... я одна живу. Ноне в избе спать жарко, на сенник перебралась. Дак вы, ежели засну, стукните в ворота сенника...

Варвара, улыбаясь, подхватила ведра на коромысло и, мягко ступая босыми ногами по хорошо утоптанному краешку песчаной дороги, враскачку пошла домой. За ней потянулись темные цепочки капель, оставляемые ведрами.

Лукашин жадно потянул в себя теплый вечерний воздух и скорым шагом направился в правление. В вечерней тишине ему еще долго слышалось поскрипыванье Варвариних ведер.

Глава девятнадцатая

И день не день, и ночь не ночь...

Таинственно, призрачно небо над безмолвной землей. Дремлют в окружии леса – темные, неподвижные. Не потухающая ни на минуту заря золотит их остроконечные пики на востоке.

Сон и явь путаются на глазах. Бредешь по селению – и дома, и деревья будто тают и зыбятся слегка, да и сам вдруг перестаешь ощущать тяжесть собственного тела, и тебе уже кажется, что ты не идешь, а плывешь над притихшей деревней... Тихо, так тихо, что слышно, как, осыпаясь белым цветом, вздыхает под окном черемуха. От деревянного днища ведра, поднятого над колодцем, отделится нехотя капля воды – гулким эхом откликнется земная глубь.

Из приоткрытых хлевов наплывает сладковатый запах молока, горечь солнца излучает избыное дерево, нагретое за день. И еще: заслышав шаги, пошевелится под крышей голубь, воркнув спросонья, и тогда, медленно кружась, пролетит на землю легкое перо, оставляя за собой в воздухе тоненькую струйку гнездового тепла.

Заглохли, притихли крикливые запахи дня. Уже не разит смолищей от сосен, не тянет с луга ядовито-сладкой сивериской¹⁷, от которой дохнет скотина. Зато все тончайшие запахи разнотравья, которые теряются днем, невидимым парком наплывают с поля. И какая-нибудь маленькая, неприметная, стыдливо спрятавшаяся в лопухах травка, для которой и званья-то не нашлось у людей, вдруг порадует таким непередаваемым ароматом, что томительно и сладко заноеет сердце.

Белая ночь...

Анфисе не спится. И с чего бы это? Спать бы да спать теперь, за всю весну отоспаться, – нет, сна нету. Но все равно – лежать в чистой постели так приятно. После бани волосы еще не просохли, от подушки немного холодит, и тело легкое-легкое. Приятно, ох, как приятно попариться молодым березовым веничком. И как хорошо, что все позади: и этот холод нестерпимый, и посевная, которой, казалось, не будет конца, и эти вечные страхи за голодную скотину.

По губам Анфисы вдруг пробежала легкая улыбка. Она вспомнила, как вчера на районном совещании похвалил ее секретарь райкома. Председатель колхоза «Луч социализма», толстая сердитая женщина, с завистью толкнула ее в бок: «В гору пошла – удержишься?»

И как только она припомнила это, новые заботы подступили к ее сердцу. Сенокос... Надо хлеба где-то раздобыть... А завтра-то, завтра – заседание правления и ей доклад говорить. Первый раз в жизни! Нет, теперь уж не до сна.

Она приподнялась, потянулась к юбке. В избе светлым-светло, как днем. Сонно постукивают стенные ходики.

Накинув теплый платок на плечи, она под села к открытому окну, задумалась. Но странное дело, мысли у нее никак не вязались одна с другой. Она пыталась еще думать о колхозных делах, о том, кого послать на дальние сенокосы, как перебиться с хлебом до новины, а глаза ее – против воли – смотрели на притихшую дорогу, на лужок у изгороди, выбитый овечьими копытцами и посеребренный крупными каплями росы, на далекую Пинегу, которую поперек полосуют темные отражения зубчатых елей. Возле изгороди, на сухом сучке рябины, распростерши крылышки, немощно уронил голову сонный воробей: сморило молодца. Свежо... Из косогора легкими хмельными волнами наносит запах черемухи, и какая-то непонятная и трепетная радость заливаает Анфису.

«Да что это со мной делается?» – растерянно подумала она.

¹⁷ Сивериска – местное название чемерицы, многолетней травы семейства лилейных, с большим толстым корневищем и метелками цветов.

За домом на дороге скрипнул песок. Она прислушалась. Шаги... И опять, к немалому удивлению, необычные воспоминания зашевелились в ее душе. Бывало, еще несмышленной девушкой, заслышав шаги неизвестного человека, она любила загадывать: «Кто идет – тот мой суженый». И сколько было смеху, когда этим суженым оказывался какой-нибудь старик или старуха.

А шаги все ближе, ближе... Вот уже слышно, как человек дышит.

Иван Дмитриевич!

Сердце у Анфисы дрогнуло.

Лукашин шел вялой, ленивой походкой – без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут, – словом, у него был вид человека, который вышел среди ночи подышать на крылечко, да и побрел неведомо куда.

Ей показалось, что он очень удивился, увидев ее в окне.

– Оказывается, не я один полуночник.

– Да уж, пожалуй... – и черные глаза Анфисы (она это с удивлением почувствовала) шаловливо блеснули.

Лукашин, с блуждающей улыбкой на губах, подошел к окну, по привычке протянул руку. Шерстяной платок съехал с плеча Анфисы, мелькнула голая рука.

Он отвел глаза в сторону, заговорил приглушенно, с хрипотцой, словно боялся спугнуть ночную тишину.

– Никак не привыкну к этим ночам. Откроешь глаза – день, посмотришь на часы – ночь. Ну и, как говорится, перепутал день и ночь. – Лукашин натянуто рассмеялся, встретился с ней глазами. – А вот вы чего не спите?

– Я-то? – улыбнулась Анфиса и зябко прижала платок к груди. – Да тоже чего-то стала путать.

Она покраснела, и Лукашину показалось, что на щеках ее, у переносья, отчетливо выступили темные крохотные веснушки, которые сразу придали ее лицу какое-то удивительно милое, простодушное выражение. И это было для него так необычно, так ново, что он даже подался вперед, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но Анфиса, видимо устыдившись своей шутки, тотчас же поправилась:

– Нет, от забот не спится. – И на него снова глядели знакомые, серьезные и немного печальные глаза.

– Да, вот какие дела... – только и смог протянуть Лукашин.

Странно, он никогда не присматривался к ней как к женщине. А она... Ему вдруг вспомнились слова Варвары: «Она ведь какая? За стол села Фиской, а вышла Анфисой Петровной». И то, что эта вечно озабоченная Анфиса Петровна, такая сдержанная и даже холодная, неожиданно приоткрылась ему Фиской, наполнило его волнующей радостью. И вся эта белая ночь, от которой он изнывал и томился, стала для него еще прекрасней и загадочней.

Где-то далеко, в конце деревни, тявкнула спросонья собака. Лукашин поднял глаза к Анфисе. Лицо ее опять светилось улыбкой.

– Что же это я вас под окном держу? – вдруг спохватилась она. – Заходите в гости. Вы ведь у меня еще не бывали.

– В гости? – Лукашин оглянулся. Откровенно говоря, он шел совсем в другие гости.

Она поняла по-своему: боится бабьих пересудов.

– Ничего, ничего. Заходите, я хоть молоком вас угощу.

И вот шаги Лукашина уже в заулке. Анфиса бросается к кровати, лихорадочно поправляет постель. И чего она, глупая, всполошилась? Экая важность, человек в гости зайдет. А шаги уже на крыльце, в сенях. Анфиса взглянула на себя. Батюшки, она в исподнем...

– Можно?

– Входите, входите! – звонко крикнула Анфиса из другой комнаты. – Я сейчас...

Стоя перед зеркалом, она торопливо натягивала на себя свою любимую кофту распахнутую из синей бумагеи с белыми пуговками. Но на этот раз кофта показалась ей какой-то уж чересчур заношенной, неприглядной. Откинув ее в сторону, Анфиса раскрыла сундук и, волнуясь, стала рыться в своих залежалых нарядах. На дне сундука нащупала руками скользкий шелк, вытащила. Чем-то цветастым, далеким и шумным опахнуло ее.

Она почти вбежала в комнату. Лукашин, занятый рассматриванием карточек в застекленных рамках на передней стене, обернулся на шаги и снова, как давеча, когда он увидел Анфису в окне, не смог скрыть изумления. У него было такое ощущение, словно Анфиса сошла с фотокарточки, которую он только что разглядывал.

Она стояла перед ним в голубой кофточке, отливающей веселым блеском, и улыбающееся лицо ее, залитое стыдливым румянцем, сияло какой-то неудержимой молодостью и счастьем. И это было так необычно, так не вязалось с ее всегдашним видом, что он невольно покачал головой.

– Что? Больно переменялась? – кивнула Анфиса на карточку и вдруг еще пуще застыдилась: на ногах у себя она увидела большие серые растоптанные валенки, в которых ходила дома.

Лукашин, смеясь, что-то отвечал ей, но она не поняла ни единого слова. Все еще разглядывая валенки и чувствуя себя страшно неудобно в этой кофтенке, которая так и поджимала под мышками, она со злостью подумала: «Вынарядилась, дуреха. Хоть бы праздник какой. А то среди ночи. Что подумает он?..»

Она заставила себя взглянуть на него и, тут только поняв, что забыла предложить ему сесть, вдруг рассмеялась:

– Хороша хозяйка. Стой, гостенек, в гостях воля не своя.

Она проворно выдвинула приставленный к столу венский стул и, по бабьей привычке обмахнув сиденье рукой, придвинула Лукашину. Потом села сама. Руки ее машинально принялись разглаживать складки скатерти.

Лицо Анфисы, продолговатое, обметанное вешним загаром, – совсем близко от его лица. На висках у корней волос, туго зачесанных назад, в том месте, где припадал к лицу плат, белая полоска. Она, ширясь, уходит за маленькое разалевшееся ухо, молочным разливом охватывает тонкую шею и стекает за ворот шелковой кофточки.

Лукашину вдруг стало жарко. Он сказал:

– Чисто у вас. Хорошо!

– Это на днях убралась, – с готовностью ответила Анфиса, поворачивая к нему разрумившееся лицо, – а то срам – зайти нельзя было.

И опять нечего сказать.

Но тут в окна брызнули первые лучи солнца, и Лукашин сразу же ухватился:

– Вот и солнышко.

Анфиса весело всплеснула рунами:

– Ай-яй-яй! Ну и хозяйка, заморила гостя. – Она быстро встала: – Каким вас молоком угощать? Парным?

– Не худо бы... – сказал Лукашин и вдруг, глядя на оживившуюся Анфису, сам почувствовал, как возвращается к нему прежняя непринужденность.

– Ну, тогда посидите – я скоро подою.

– Что вы, что вы! Какая сейчас дойка!

– Ничего, у меня буренка привычная – еще Харитон на военный лад подковал, – рассмеялась Анфиса, сбрасывая у порога валенки.

Она сняла с вешалки передник, подумала, не переодеть ли кофточку, но тут же махнула рукой: а куда ее беречь.

Занятая делом, Анфиса уже не испытывала недавнего смущения, а только, чувствуя на себе взгляд Лукашина, изредка косила в его сторону большим черным глазом и мягко улыбалась.

Он захмелевшими глазами ласкал все ее небольшое, ладное тело, скользил взглядом по рукам, разбрызгивающим воду под рукомойником, по белой нежной шее, над которой тяжелым, пышным узлом свисали волосы. Ему хотелось подойти к ней, обнять. И в то же время непонятная робость охватывала его. Нет, это было не то слепое, беспокойное влечение, которое будила в нем смазливая, столь откровенная в своих желаниях Варвара.

Оставшись один, он попытался разобраться в своих чувствах. Но все путалось и туманилось в его голове, и он был снова во власти тех смутных и томительных ощущений, которые волновали его в белую ночь. То ему припоминался властный, обжигающий взгляд Анфисы при первой встрече, то он видел ее бледное, растерянное лицо на собрании, то в глаза ему смотрели ласковые, обезоруживающие своей чистотой и доверчивостью большие черные глаза, когда он стоял под окном. Странно, другая вся на виду, а эта вся запрятана. И эти крохотные веснушки у ее переносья, так внезапно высыпающие и исчезающие.

В раскрытое окно тек густой запах черемухи. Солнце начало пригревать в затылок, но ему лень было пошевелиться. Сбоку от него – наспех прибранная постель, белая подушка с вмятиной посредине... Грешные мысли и желания нахлынули на него, и он опять потерял ощущение времени и пространства...

В комнате запахло парным молоком, привянувшей травой. Он стряхнул с себя сладкую дрему и, стыдясь собственных мыслей, встретился с ней глазами.

– Заждались? – голос у Анфисы глухой, мягкий. И во всей фигуре чувствовалось что-то довольное и умиротворенное.

Лукашин знал: так всегда бывает, когда хозяйка выходит из-под коровы (чиликанье молока, что ли, успокаивает или еще что), но то, что эта перемена произошла с Анфисой, его особенно обрадовало.

Сняв передник у порога, Анфиса медленно, слегка покачивая бедрами и тихо улыбаясь, прошла с эмалированным ведром за занавеску, потом вынесла ему полнехонькую крынку теплого, вспененного молока. Он начал пить прямо из крынки.

– Так вкуснее, – сказал он, на секунду переводя дыхание и глядя на нее счастливыми, посветлевшими глазами.

Провожая, она вышла с ним на крыльцо. От домов и изгороди на дорогу падали длинные тени. На повороте улицы к Лукашину подошел Степан Андреевич и о чем-то, разводя руками, заговорил. И тут только Анфиса спохватилась: как же это она про доклад забыла, не посоветовалась?

И вся та радость и беспричинное счастье, которые не покидали ее этой ночью, вдруг растаяли бесследно, как утренняя роса на солнце. Она снова была одна со своими заботами в пустой избе.

Глава двадцатая

Июнь выдался на редкость теплый, солнечный. Над Пекашином целыми днями голубело безмятежное небо, дружно поднимались хлеба, росли травы.

В колхозе деятельно готовились к сенокосу. Старики точили и отбивали косы, делали грабли, чинили обувь. У кого водилась мука, сушили сухари. В маленькой кузне у болота с утра до ночи шумел горн, весело вызванивала наковальня.

Мишка Пряслин неожиданно для всех стал незаменимым кузнецом. Золотые руки оказались у парня! Там, где Николаша Сембин, «специалист по тонкой работе», часами потел над какой-нибудь пустяковой гайкой, Мишка управлялся за несколько минут.

После работы, весь измазанный сажей, в кепчонке, сдвинутой на затылок, Мишка не спеша, вразвалку, отправлялся в правление. По дороге он снисходительно кивал своим сверстникам, а если попадался навстречу пожилой человек, с достоинством вступал в беседу.

– Ну и погодка, Христофор Афанасьевич, – говорил Мишка какому-нибудь ветхому деду, принимая позу бывалого хозяина. – Дождей не будет – нароем сена.

Дед, польщенный вниманием, отвечал:

– Худо ли бы с сеном, да работнички-то наши где. Траву погану рвут.

– Ничего, старина! – успокаивал Мишка. – Мы это обмозгуем. Я вот собрал из старья косилку, и еще что-нибудь придумаем.

– Да уж так, парень... – напутствовал Христофор Афанасьевич. – Силенки нету – смекалкой бери.

В правлении колхоза, потолкавшись среди людей и непременно отчитав какого-нибудь бригадира за нерасторопную доставку в кузницу инвентаря, Мишка всякий раз подходил к ведомости трудодней, вывешенной на видном месте, и, не умея скрыть мальчишеской радости, с удовольствием поглядывал на свою фамилию, против которой каждый день прибавлялась новая палочка.

По вечерам в правлении теперь больше чем когда-либо толпился народ, все-таки предсенокосная пора давала людям небольшой роздых. Лукашин раздобыл в райцентре большую карту Советского Союза, и около нее часами простаивали люди. Не шибко грамотные бабы и старики, замечая, как день ото дня то тут, то там отодвигаются на восток красные флажки, тяжело вздыхали:

– Все прет и прет...

– Страсть куда залез.

– И когда его, окаянного, погонят?

Однажды Трофим Лобанов, уставившись на карту своими выпуклыми немигающими глазами, попросил Лукашина:

– Покажи, где тут Ленинград?

– Вот он Ленинград. А что?

– Парень мой, Максимко, там! – тряхнул бородой Трофим.

С тех пор каждый вечер Трофим подходил к карте и, убедившись, что красный флажок у Ленинграда все на том же месте, громко, на всю контору изрекал:

– Во как мой Макс. Стоит, как в землю врос! Трохину породу сразу видно.

Потом сурово кивал Софрону Игнатьевичу и, тыча коротким задубелым пальцем в южную часть карты, басил:

– А у тебя Гришка – того... Всю карту портит.

Для Анфисы июнь начался той памятной белой ночью. По утрам она просыпалась с ощущением какой-то легкой, подмывающей радости. «Что бы это такое?» – спрашивала она себя мысленно и улыбалась, оставляя вопрос без ответа. Теперь у нее вдруг появилась разборчи-

вость в одежде. Вместо синей кофты, с которой почти не расставалась последние два года, она все чаще надевала веселую, цветастую.

«Председатель – надо... в район езжу...» – оправдывалась она перед собой.

У нее и походка стала другой – стремительной и легкой, а на смуглых щеках все чаще появлялся жаркий румянец.

Днем, чем бы ни была занята, она постоянно ловила себя на мысли, что с нетерпением ждет вечера, тех радостных и счастливых минут, когда она вдвоем с Лукашиным останется в правлении. Она любила слушать его в вечерней тишине, с глазу на глаз, – так с нею еще никто не разговаривал.

Просто, ничего не скрывая, он рассказывал ей о войне, о фронтовой жизни, о своих товарищах. Вместе с нею он разбирал очередную сводку Информбюро, вскипал, чертыхался, когда надо было опять передвигать флажки на карте, вспоминал города, оставляемые нашими войсками, – и мало-помалу немой лоскут, испещренный тысячами неизвестных доселе названий и извилин, ожил для Анфисы и начал приобретать очертания громадной родной земли, содрогавшейся от грохота сражений.

Ей стыдно, неловко было перед Иваном Дмитриевичем, и она все чаще стала заглядывать в газету.

Иногда в разгар их беседы в дверях конторы неожиданно появлялась Варвара, подозрительно оглядывала их насмешливыми глазами:

– Все газетки читаем? Ну-ну, читайте! – И, беззаботно рассмеявшись, уходила.

Анфиса чувствовала себя после этого как человек, застигнутый на месте преступления, и долго не могла оправиться от смущения.

В другой раз Варвара, повстречав ее на улице, польстила:

– А тебе председательство-то на пользу, Анфисьюшка. Ты как десять годочков сбросила.

Она растерялась, не нашлась, что ответить. Но, оставшись одна, задумалась. Как ни хитрила она с собой все это время, но не могла не признаться, что не одни только душевные разговоры влекут ее в правление. Ее пугали, смущали взгляды Лукашина, которые она порой замечала на себе, и в то же время ей было необычайно радостно и хорошо от этих взглядов.

Нет, нет, говорила она себе, трезвея. Чтобы ей да в такое время глупостями заниматься! Да что о ней люди подумают, как она им в глаза глянет?

И ей уже казалось, что бабы догадываются, шепчутся у нее за спиной, что Варвара неспроста намекнула насчет годочков.

Вечером в тот день Анфиса не пошла в правление. Она нарочно переделалась в домашнюю юбку и отправилась полоть картошку на своем огороде.

Осторожно, чтобы не обжечь крапивой босые ноги, ступая по заросшей травой борозде, она прошла к крайней грядке и принялась за работу. Пальцы ее привычно и быстро начали выдергивать сорняки, совать их в подол передника.

На деревне пахло дымом: многие хозяйки начиная с нынешней весны топили по вечерам, сэкономили дневное время. От колодца доносились голоса баб, смех.

«И с чего это ты взяла? – думала Анфиса. – Человек как с человеком разговаривает... До тридцати пяти дожила, а тут невесть что в голову взбрело...»

И ей уже казалось теперь, что все те особенные взгляды Лукашина, которые так волновали и смущали ее, она выдумала сама, что Лукашин, наверно, и не думает о ней. Да и с чего ему думать, когда своя семья под немцем? А она-то, она-то – как девчонка глупая. Совсем из ума выжила. И все-таки как ни стыдила, ни отчитывала она себя, на душе у нее было неспокойно. Она все время томилась каким-то неясным ожиданием и постоянно оглядывалась на дорогу.

Пахучая трава дурманила голову, взрыхленная, нагретая за день земля дышала жаром, кровь прилиwała к лицу, – и ей немалых усилий стоило продолжать работу. Бывали минуты,

когда она готова была бросить все и бежать в правление, и сделала бы это, если бы в ней тотчас же не возмущалась гордость.

И вдруг, когда она уже ни на что не надеялась, ничего не ждала, в переулке раздалось знакомое покашливание. Она едва не вскрикнула от радости. К ней шел Лукашин с Митенькой Малышней.

Не обращая внимания на крапиву, с полным передником травы, она почти бегом кинулась к воротцам.

– Принимай гостей, Петровна, – издали замахал рукой Митенька Малышня. – Иван Дмитриевич конфет раздобыл – чай пить будем.

Анфиса вытряхнула зелень из передника и, вся разогретая, пахнущая травой и землей, вышла из огорода:

– Милости просим...

Она вспыхнула, встретившись глазами с тревожным, вопрошающим взглядом Лукашина.

Не успели, однако, они подняться на крыльцо, как где-то совсем рядом резануло:

– Убили... о, убили!..

Все трое с тяжелым предчувствием посмотрели друг на друга. Кого еще осиротила война?

В ту же секунду из-за дома показалась раскосмаченная, как ведьма, Марина-стрелеха. Поднимая пыль босыми ногами, она тащила за ворот упиравшегося белоголового ребятенка и дурным голосом причитала:

– Убили... Середь бела дня убили...

– Да говори ты!.. – вне себя крикнула Анфиса.

– Петеньку моего... петушка моего беленького...

– Тьфу ты господи! С ума сводишь... я думала – опять похоронная.

Запыхавшаяся стрелеха гневно сверкнула здоровым глазом:

– Так-то ты меня, старуху беззащитную... – Потом, разглядев Лукашина, снова заголосоила: – Родимушко ты мой!.. Ты хоть пожалей.

– Да ты отпусти, Викуловна, отпусти Ванятку-то, – вступился за мальчика Митенька. – Он и так не убежит.

Лукашин молча отвел от ворота мальчика руку Марины, погладил его по голове.

– Ну ладно, говори... Чего ещестряслось? – поморщилась Анфиса.

– Ох, роднуша, не спрашивай... – заломила руки Марина. – Сижу я это дома, родимые, и уж так под грудями щемит, так щемит – места не найду. Дай-ко, думаю, выгляну – уж не горит ли где. Только я открыла ворота, слышу, визжат на задворках: «Бей белого, бей!» У меня так все и оборвалось. Долго ли, думаю, до греха – убьют друг дружку. Ведь все только в войну и играют. Оногдась¹⁸ Фильку у Лапушкиных едва не порешили. Енералом немцем назначили...

Анфиса недовольно оборвала:

– Будет тебе сказки-то рассказывать.

– Нет, нет, почто... – спохватился Митенька, с раскрытым ртом слушавший Марину. Он переводил голубые глазоньки с одного лица на другое, и в них светилось такое неподдельное, чисто детское любопытство, что Анфиса, вдруг смягчившись, подумала: «Как есть Малышня...»

– Ну назначили Фильку в енералы... – услужливо напомнил Митенька.

Но Марина, переняв недовольный взгляд Анфисы, вернулась к своей беде:

– Ну бегу я на задворки-то, что есть моченьки бегу. Разбойники, кричу, что делаете-то? А этот щенок-то, – указала она на мальчика, – стоит, плачет: «Мы, говорит, Марина, твоего петуха убили». Взглянула я на побоище-то, а там и впрямь мой петушко. Кругом перо да перо, а он, голубчик, лежит на бочку да эдак одним-то крылышком взмахивает, головушку вытянул

¹⁸ Оногдась – однажды.

да так глазком-то одним бисерным смотрит на меня – жалостливо-жалостливо... Взяла я его, гуленьку, на руки, а он уж и дух спустил.

По морщинистому, как растрескавшаяся земля, лицу старухи катились слезы.

– Ладно, успокойся, – сказала Анфиса и, легонько взяв Ванятку за подбородок, приподняла его голову. – Что же это вы натворили?

Мальчик засопел, надул губы.

Молчание ребенка привело Митеньку в восторг:

– Не скажет, истинный бог – не скажет. Это у них тайна военная, я уж знаю. Верно говорю, Ванятка?

– Верно, – пробормотал мальчик, вот-вот готовый расплакаться.

Анфиса, сдерживая улыбку, напустила на себя строгость.

– Как это не скажет? Ну, мне не скажет, а Ивану-то Дмитриевичу? Знаешь, кто он? – кивнула она на Лукашина. – Командир Красной Армии. Ему все секреты говорить надо.

Ванятка недоверчиво покосился на Лукашина, затем перевел взгляд на Митеньку: так ли, мол, не обманывают ли его?

– Не сомневайся, Ванюшка. Истинно, – всерьез подтвердил Митенька.

– Дак зачем же вы петуха убили? – снова стала допытываться Анфиса.

– А почто он белый...

– Ну и что?

– Ну и Сенька сказал, что белые никогда не побивают красных. А когда белый стал подсаживать красного, Сенька и говорит: надо, говорит, подсобить красному.

– Да какой красный, какой белый?

– Ты по порядку, по порядку, Ванятка, – внушал Митенька.

– Мы на конюшню ходили, а у Марины на задворках петухи дерутся: один белый – Маринин, а другой красный – Василисин. Ну а красный-то слабенький, стал, сдавать. Сенька и говорит: «Белый, говорит, не имеет никакого права. Этого, говорит, и в кинe ни в одном нет». А Костя Семьин говорит: «Белые, говорит, как фашисты, завсегда народу вредили!» Да немножко и толкнул белого. А белый как рассвирепеет, рассвирепеет... – глазенки у Ванятки засверкали, и весь он теперь походил на боевого петуха, – да как кинется на красного петушка, а тот и с катушек... А Сенька закричал: «Ребята, говорит, бей белого»... Мы маленько побили, а он взял и очоурился... – и Ванятка расплакался.

Лукашин неловко опустил на корточки, притянул мальчика к себе.

Анфиса заметила, как дрожит его рука, обнимающая худенькие ребячьи плечи. Потом он вытащил из кармана пригоршню розовых засахаренных подушечек, начал совать их в грязные ручонки мальчика.

– Вот как, вот как тебе, Ванятка! – говорил Митенька Малышня, искренне радуясь такому исходу дела. – Пойдем со мной, а то ребята еще отнимут у тебя.

Легонько подтолкнув мальчика, он взял его за руку и повел на дорогу. Ванятка крепко сжимал в грязных кулачках конфеты и, постоянно оглядываясь назад, улыбался Лукашину розовым беззубым ртом.

Лукашин, не двигаясь, провожал его прищуренными глазами, и на лице его была такая тоска и боль, что даже Марина-стрелеха, видимо догадавшись, что делается сейчас на душе у ее квартиранта, сочла за нужное потихоньку удалиться.

– Да, – словно очнувшись, произнес Лукашин. – Как мой Родька...

Он устало опустил на крыльцо, взялся рукой за голову.

У Анфисы сердце разрывалось от жалости, но она не находила слов, чтобы утешить его. Наконец она под села к нему сбоку, дотронулась рукой до плеча.

– Хотите взглянуть на моего Родьку?

Часто мигая влажными, необыкновенно потеплевшими глазами, он достал из потайного кармана гимнастерки серую, обтрепанную по краям карточку, протянул Анфисе, безуспешно пытаясь скрыть свое волнение:

– Вот он, мой разбойник...

На Анфису ласково глянуло умное, лобастенькое, как у отца, лицо мальчика.

– Хорош, хорош Родион Иванович!

– Хорош-то хорош, – мотнул головой Лукашин, – да страшно не повезло. Понимаете... не уберегла бабка, простудила ребенка, и вот ножку скрючило. Такой парнюга славный, а полжизни в больницах провел... Вся надежда на Крым была. В прошлом году летом собирался везти к одному профессору – уж и договоренность была. А тут война... Теперь вот под немцем...

– Да вы не убивайтесь, с матерью ведь; мать в обиду не даст.

Лукашин с горечью усмехнулся:

– Какая мать? С бабкой остался... – И на вопросительный взгляд Анфисы добавил: – У меня жена вскоре после родов умерла. Я его сам и выхаживал... Сначала думал жениться, да захочет ли, думаю, мачеха с больным ребенком возиться? Так и остался вдовцом...

Ночью Анфиса долго не могла заснуть. Ей и жалко было Ивана Дмитриевича, жалко больного ребенка, который где-то в немецкой неволе мается со старухой, и в то же время из головы не выходили слова: «жены нет»...

Но тут подошла вплотную страда – и бесчисленные новые заботы и хлопоты целиком завладели ее умом и сердцем.

Правление колхоза, готовясь к выезду на дальние сенокосы, казалось бы, предусмотрело все: было заготовлено необходимое количество кос и граблей, сколочены не одни сани-волокуши, кое-как схлопотали общее питание (для этого пришлось выпрашивать займы муки в соседнем колхозе), но в последние дни, как всегда, выявились новые затруднения. Травостой на некоторых речках из-за поздней весны оказался так мал, что выезд на них пришлось отложить, – и уже одно это спутало все планы уборочной. Еще хуже было с людьми, – как ни хитрили, ни изворачивались, а заткнуть все дыры не могли. Даже та рабочая сила, которая считалась надежной, зачастую подводила: у одной ребенок заболел накануне, другой за старухой присмотреть надо, у третьей корову подоить некому – кто за нее молоко платить будет? Да и то сказать, страшно вести разъединственную кормилицу в лесную глушь: а ну как зверь нашкодит? А четвертая и рада бы поехать, да не с чем: в доме с пригоршню муки нет. Даже Варвара Иняхина, которой ничто не вязало руки, и та норов показывала: «Нахотела я на тот свет ехать, ближе к дому хочу».

Наконец десятого июля выезд состоялся. Бывало, до войны, отправлялись на пожню как на долгожданный праздник – с песнями, с весельем. А народ-то какой! Мужики да парни чуть не за крыши головой задевают, разряженные девки, поскрипывая новыми сапогами, млеют от радости, которую сулят им встречи с милыми в короткие бессонные ночи...

А сейчас за саями-волокушами, на которых был уложен скудный нынешний пожиток, плелось несколько стариков. Некоторые из них, страдая одышкой, хрипели с первого шага, другие были столь ветхи, что им только бы домашничать, а не о сенокосе думать. Желторотые мальчишки и девчонки, женщины, еще не оправившиеся после тяжелой весны... За матерями вдогонку, хватаясь за подол, бежали малыши, и те на ходу наклонялись к ним, давали последние наказания. Коровы на вязках упирались, оборачивались назад, к своим дворам, и вопрошающе косили на людей лиловым глазом: «Куда вы нас ведете?»

Анфиса, провожая, смотрела на свое воинство и со страхом думала: «Какое же тут сено? Чем скотину кормить будем?»

Глава двадцать первая

Горбатый мыс – самое распроклятое место на Синельге. Не пожня, а сплошные горбыли да муравейники. За день так руки надергает, что вечером ложку ко рту не несут. А уж трава на Горбатом мысу! Гнездоватый мятлик, красноголовая осота – старучина да задубевшая собачья дудка... Коса вызванивает, как о проволоку.

Пять пекашинских домохозяек, проклиная все на свете, маялись на мысу уже второй день. День был жаркий, безветренный. С безоблачной выси нещадно палило солнце. От перегретой травы обдавало, как из печи. Женщины каждый раз, дойдя до Синельги, жадно припадали к воде потрескавшимся губами, споласкивали лицо, мочили засекшиеся, заземлившиеся косы и снова делали заход.

Работали молча, невесело.

Анна шла сзади – вся мокрая, еле держась на ногах. Коса у нее постоянно запарывалась, и она насилу выдираала ее из земли. Молодая, бойкая Лукерья уже трижды обходила ее. Сначала покрикивала: «Убирай пятки!..» – а потом уже просто, не говоря ни слова, выходила вперед. Да что Лукерья! Престарелая Матрена, которая вечно стонала да охала, и та обошла. Ей стыдно и горько было за себя, за свою беспомощность. Что подумают о ней бабы? Как ребят таскать, так первая, а косить – нету... Она низко наклоняла голову, украдкой смахивала слезы, а они все набегали и набегали...

После полудня Лукерья, переглядываясь с женками, сказала:

– Чтой-то, бабы, лягу-то¹⁹ мы забыли. Иди-ко, Анна, выручай.

Ей ли было не знать, что лягу-низинку у залесья – каждый год оставляли напоследок, – для опохмелки, как говорили, чтобы после Горбатого мыса не отбить навсегда охоту к косьбе. Трава там легкая, коская – лопушник да ремза. Но сейчас Анна рада была уйти с людских глаз.

В ляге, отгороженной от мыса кустарником, жара была меньше. Анна потихоньку стала косить. Коса больше не зарывалась в землю. Она без отдыха прошла укос и, оглядываясь назад, с облегчением вздохнула: нет, еще может работать.

Когда спустя некоторое время женки закричали «перекур», она решила отдыхать здесь, в ляге. Да и зачем она пойдет? Бабы, как всегда, начнут говорить о своих мужьях, пересказывать их письма, гадать, когда кончится война и вернуться домой родные. А каково-то ей все это слушать? Ей не от кого больше получать писем, ей некого больше ждать. Был Иван, и нет Ивана – будто и не жил человек на свете.

Выбрав местечко под ветвистой черемухой, куда не доставало солнце, она села в густую влажную траву, в изнеможении прислонилась к стволу дерева.

Едкий соленый пот заливал ей лицо, голову разламывало от зноя, от слез. Надо бы спуститься к речке, умыться, но у нее не было сил. Она сняла с головы плат, вытерла лицо.

Что же это она? Совсем сдавать стала. А ведь ей всего тридцать пятый год. Иная баба к этим годам только в силу входит, а она...

Расправляя на коленях помятый плат, она случайно обратила внимание на свои руки. Какие они худые, черные да жиливатые – как у старухи. И эти ухваты Ваня называл лапушками...

Вокруг нее в траве лихорадочно ковали свое немудреное счастье кузнечики, жалобно звенели комары, загнанные в тень палящим солнцем, высоко в небе заливался жаворонок, которого в Пекашине называют божьим барашком, за кустарником громко переговаривались бабы. Но она ничего не слышала. Перед глазами ее стоял Ваня, высокий, в белой рубашке, с непо-

¹⁹ Ляга – низина на лугу или за кустами.

крытой головой... Свистит коса... улицей стелется пахучая трава... «Анютка, – кричит он ей улыбаясь, – не надрывайся! Давай лучше песню, а я под твою песню за семерых накошу...»

– Ванюшенька, родимый, – зашептала она вслух, глотая слезы. – Научи ты меня, как мне жить...

Первые дни после получения похоронной она ходила как помешанная, ни о чем не думая, ничего не соображая. Осознание всего ужаса и непоправимости случившейся беды пришло позднее. Как-то ночью она проснулась, села на постели и обмерла. Вокруг нее, как щенята, раскидались, переплелись меж собой посапывающие детишки. Пятеро! Да еще шестой на кровати. Как же она, горемычная, будет жить, поднимать такую ораву? Разве тащить ей воз, который был под силу одному Ивану? Чем их накормить, напоить?

С тех пор эта мысль неотступно преследовала ее. Сядет за стол, взглянет на ребятишек – и сердце упадет. Шестеро! И все тянутся к хлебу, наминают за обе щеки. По куску, так шесть кусков надо! А какие у нее доходы? Ну пускай поднатужится, выработает триста трудодней в год, получит по килограмму. Это хорошо еще – урожайный год. А ведь были годы, когда и сотками получали. Да разве это хлеб на такую семью? Она уже сейчас забирает под новые трудодни. А во что обуть, одеть их?..

За кустами зазвенели косы. Она, охая, поднялась, налопатила косу и поплелась к кошенице. Мало-помалу жара начала спадать, с северной стороны потянуло желанным ветерком. Коса заходила живее.

Через некоторое время впереди, в Волчьем логу, застрекотала сенокосилка. Анна, не прекращая размахивать косой, приподняла голову. Радостная улыбка осветила ее лицо.

По лугу, потряхивая головами, шагали две лошади, а сзади них, сбоку, покачивался на сиденье косильщик в белой рубахе. Мишка! Ее Мишка... Господи, как бы она жила без него! И чего-чего не делает он в свои четырнадцать лет! Днем за мужика работает, а дома – и воды, и дров принесет. Вчера утром стала одеваться, смотрит – на сапогах подметки подбиты. То-то она ночью просыпалась: что да что стучит на крыльце.

– Милый ты мой! Радость ты моя... – прошептала она тихо, не отрывая глаз от сына. – Пропадать бы без тебя мамке.

Завидев мать, Мишка отчаянно замахал руками, потом спрыгнул с сиденья и, что-то крича, прямо некошеной травой побежал к ней.

Коса у Анны вжикнула и уткнулась носком в землю. Неужто еще беда какая? С ребятишками, наверно... Обмирая от страха, она все крепче и крепче сжимала окосье в руках.

– Мамка! При-ня-ли! При-ня-ли!

В глаза ей бросилось счастливое, необыкновенно возбужденное лицо сына. Подбежав к ней, он в изнеможении кинулся на кошеницу и, высоко задрав кверху ноги, как жеребенок, начал кататься по траве.

– Кого приняли? Куда?

– Да в комсомол!

Анна попыталась улыбнуться, но губы ее дрогнули:

– Отец-то бы обрадовался. Бывало, ты еще маленький... Возьмет на руки... – И, не договорив, всхлипнула.

Мишка встал, глаза у него потемнели:

– А ты, мамка, опять плачешь. Сколько тебе говорено...

– Плачу, Мишенька. Как жить-то будем?

Мишка насупился:

– Как жить? Проживем. Люди же живут.

– У людей-то не такая семья... Хлеб теперь забираем вперед, а зимой что?

Мишка зачем-то взял из ее рук косу, долго протирал полотно травой и вдруг, воткнув ее окосьем в землю, решительно шагнул к матери:

– Видишь, какой я? Во на сколько выше тебя! – Он взмахнул рукой над ее головой. – А ты все – как да как жить...

Черные хмуроватые глаза его вспыхнули:

– А ты думаешь, в комсомол за здорово живешь приняли? Как бы не так! Лукашин знаешь как меня назвал? Товарищ Пряслин, говорит, настоящий гвардеец тыла! Это как? Зазря? И Мишка, заново переживая недавние события, с жаром начал рассказывать:

– Понимаешь, мамка, все «за»... И сам Лукашин. Я тебе раньше не сказывал. Я еще весной подавал... Ну, в общем, года, русский язык вспомнили... А тут, понимаешь, как получилось? Я и не просил. Лукашин это вчера подходит. Ну, то, се, насчет работы спрашивает, а потом и говорит: «Ты, Михаил, в комсомоле?» Нет, говорю. «Нехорошо, говорит, такой парень, и в хвосте. Пиши заявление». Ну, раз так, я и написал. Понимаешь, мамка, все только и говорили: заслуживает, заслуживает. А Лукашин – вот человек! Такое про меня говорил – я и сам не знал. Всю жизнь расписал...

– Да, да... – она кивала ему головой, улыбалась и в то же время с тоской разглядывала новую прореху у ворота его рубахи.

– А знаешь, мамка, что я сделал? – еще больше загорячился Мишка. – Татьяну Рудакову на соревнованье вызвал! Думаешь, не побью? Дудочки! Я все заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю – будет всю жизнь помнить Пряслина!

Мишка передохнул и вдруг, наклонившись к матери, таинственно зашептал:

– А потом я знаешь что сделаю! В партию вступлю! – И тут от избытка чувств он подхватил мать под мышки и высоко поднял в воздух. От неожиданности и изумления Анна не могла вымолвить ни слова. А когда она опомнилась, Мишки уже не было. Он бежал по лугу широким, качающимся шагом – в белой рубахе, с непокрытой головой.

– Весь в отца... – прошептала она, всматриваясь в удаляющуюся фигуру сына, и впервые за последние недели будто растаяло у нее что-то в груди.

Глава двадцать вторая

У Лизки дел да хлопот полные руки. Шутка ли, домашничать в такой семье! Надо и печь истопить, и с коровой управиться, и ребятишек накормить, и в избе прибрать, и бельишко постирать, – и чего-чего не надо...

Конечно, двенадцатилетняя Лизка многое из этого еще не делает: ее ли руками ворочать чугуны в печи, подымать деревянный подойник? И все-таки в страду весь дом держится на ней. Она с раннего утра до позднего вечера с ребятами и уж с ними-то ведет себя как заправская хозяйка.

– Робятища, – то и дело раздается ее сердитый голосок, – не мешайте вы мне, не путайтесь под ногами. У меня корова не доена, печь не топлена. И что за наказание такое? Без матери шагу не ступят...

«Робятища» – это пятилетний Федюшка да белоголовая, как одуванчик, Татьяна, которые, по правде говоря, совсем не мешают ей, – сидят себе в нескольких шагах от нее да роются в свое удовольствие в горячем песке. Но так уж положено: раз дети, то они непременно должны мешать хозяйке и на них непременно надо покрикивать.

Прибрав свое черепушечное хозяйство, расставленное все в том же углу между крыльцом и стеной избы, Лизка берет веник, подметает сор, потом, приставив к зеленым, острым, как у кошки, глазенкам худые, измазанные в земле руки, смотрит на солнышко.

– О господи! – хлопает она себя по бедрам, приседая. – Солнышко с полудника повернуло, а у меня и конь не валялся. Придут мужики с пожни голодные, сердитее. Чем кормить буду?

Лизка с еще большим усердием начинает хлопотать вокруг черепков и баночек, время от времени поглядывая на своих «мужиков» – послушных, неразговорчивых мальчуганов Петьку и Гришку; они за дорогой, возле изгороди, ползая на коленях, рвут мокрицу, сооружают игрушечные стога.

Вскоре «мужики» и в самом деле возвращаются домой.

Лизка усаживает их на низенькие чурочки, заменяющие стулья, заводит хозяйственный разговор:

– Как ноне сена-то? Прокормим коровенку?

Потом она достает из «печи» два глиняных колобка, «обжигаясь», сует «мужикам»:

– Съешьте пока по горяченькой, заморите червяка. Харчи-то ноне – сами знаете...

«Мужики», хмурясь, несмело отпихивают глиняные колобки:

– Не-е... Мы по-всамделишному хотим. Дай хлеба.

При слове «хлеб» рыжеватого, веснушчатого Федюшку как ветром поднимает с земли. Он подбегает к Лизке и, шмыгая носом, настороженно и подозрительно смотрит на сестру и братьев: не обошли ли его, не скрыли ли чего-нибудь? Он может есть в любое время суток: разбуди среди ночи – не откажется.

Лизка хорошо знает, что от обеда у них осталась всего-навсего одна постная шаньга²⁰. А когда еще вернется с пожни мамка и подоит корову? Солнышко вон где – даже до угла избы Семеновны не дотянуло, а надо, чтобы солнышко в аккурат за крышу двора село. И, как всегда, Лизка оттягивает время еды.

– Ах вы лодыри! – вдруг начинает она кричать на братьев. – Да нешто это страда? Люди днюют и ночуют на пожне, а у нас горе – не мужики. Сиднем сидят дома.

Тут Лизка хватает с чурбака две шербатые крынки, сует их Петьке и Гришке:

– Сбегайте хоть за водой, чем баклуши-то бить.

²⁰ Шаньга – выпечка из кислого теста, политая сметаной.

Те переглядываются, как бы говоря: «Ничего, брат, не поделаешь. Она у нас такая», – и нехотя, опутив головы, идут за водой к грязной кадке соседнего дома.

– А ты чего стоишь как пень? Не знаешь своего дела?

Федюшка, что-то угрюмо лопоча себе под нос, возвращается к Татьянке.

Проходит еще полчаса или час. А дальше терпеть не может и сама Лизка: у нее уже давно урчит в животе.

И вот наступает долгожданная минута. Ребятишки во главе с Лизкой идут в избу. Лизка снимает с пояса ключик, открывает шкаф, в котором хранится последняя шаньга. Делит она, как всегда, на четыре части: самой младшей, Татьянке, еда оставляется на день особо. Братья с затаенным дыханием, боясь моргнуть, следят за руками Лизки – не обделит ли кого-нибудь? Но глаз у Лизки наметан. И все-таки для большей справедливости она говорит Гришке:

– Ну, сегодня твоя очередь, отворачивайся.

Гришка поворачивается спиной к столу.

– Кому? – спрашивает Лизка, указывая ножом на одну из четвертинок.

– Федюшке, – отвечает тот.

Федюшка жадно хватает кусок, загребают крошки.

После еды повеселевшие дети снова играют: сеют лен, ловят шпиона-фашиста, рвут траву в огороде для коровы.

Но проходит час-другой, и Федюшка начинает хныкать:

– Исть хочу. Лизка, дай хлеба...

– Ты опять за свое? Давно ли лопал? Постыдился бы хоть людей, – кивает она на Петьку и Гришку.

Но те, отвернувшись от нее, присоединяются к Федюшке:

– Исть хотим...

– Да нешто вы полоумные? – разводит руками Лизка. – Где хлеб-то видели? Сказывают, в каком-то городе люди всю зиму не ели, с Гитлером воевали, а вы и часу прожить не можете.

Но разве проймешь чем-нибудь этих обжор? Пасти широкие раскрыли да знай горланят одно и то же: хлеба!..

– Ну погодите у меня, – прибегают Лизка к последнему средству, – вот придет Мишка. Он вам покажет. Он вам бока-то прочешет.

В это время где-то совсем близко раздается короткий мык. Все разом смолкают, настороженно прислушиваются. Секунды томительного выжидания. И вдруг вечерний воздух оглашается знакомым раскатистым мычанием.

– Звездоня, Звездоня пришла! – не помня себя, кричит, подпрыгивая, Лизка.

Она хватает из кузова, стоящего у крыльца, клоч свежей травы, сломя голову бежит на дорогу. За ней, тоже с травой в руках, – Петька, Гришка, Федюшка. Даже Татьянка и та приподнимается с земли, начинает неуверенно переставлять свои кривые ножонки.

Черно-пестрая Звездоня только что показалась из-за угла соседнего дома. Она идет медленно и важно, лениво помахивая длинным хвостом. Весело блестит глянцевиная шерсть на боках.

Навстречу ей тянутся детские ручонки с пучками травы. Из маленьких, трепетно бьющихся сердечек льются самые ласковые и нежные слова, какие скопились там за недолгую жизнь:

– Кормилица ты наша, пришла...

– Голубушка...

– Иди скорейча... Молочка принесла...

– Роднулюшка желанная...

Звездоня, довольная, прибавляет шагу, опять трубит на всю улицу, потом, подойдя к детям, жарко обдает их своим утробным дыханием, привычно вытягивает мокрую, молочную

морду. Смачно хрустит трава. Лизка и старшие братья, samozабвенно лаская кормилицу, чешут ей возле рогов и за ушами. Маленькая Татьяна, нагнувшись к земле, пытается собирать обретенные травинки. Травинки не захватываются, забавно выпадают из непослушных пальчиков, и она весело смеется.

Растроганная Лизка нараспев поощряет ее:

– Ох ты моя хорошая! Травушку она собирает для Звездони. Собирай, собирай, моя пригожая... Звездонюшка молочка даст...

Но не таков Федюшка, чтобы заниматься этими глупостями. Он жадно, как волчонок, принюхивается к молочному запаху и даже, присев на корточки, засматривает на вымя.

Но вот и Звездоня во дворе. Длинные тени пересекают улицу, а мамки все нет и нет. Ребята уныло и неприкаянно бродят возле избы, с тоской посматривают на солнышко, которое никак не хочет сесть за крышу двора Семеновны.

Потом, не сговариваясь, один за другим присаживаются на ступеньки крыльца.

– Молока хочу, – первым подает голос Федюшка.

– Погоди уже, – слабо возражает Лизка, – придет мамка, подоит...

– А ты позови Семеновну. Она тоже умеет доить, – несмело советуют ей Петька и Гришка.

– А где она, Семеновна-то? Разве кто страдой сидит дома?

– Ну тогда дай хлеба, – снова бормочет Федюшка.

– Да нешто ты не видел? Крошки не осталось.

– А не дашь – скажу мамке, что ты больше нашего съела.

– Я? – Пораженная такой несправедливостью, Лизка едва выговорила: – Когда это?

– Давеча... – не моргнув глазом, отвечает Федюшка.

– Не ври, вруша!.. А хоть бы и больше – что из того? Я тебя на семь годов старше, а руки-то у меня, смотри, какие. А у тебя вон, как у мясника.

Лизка глядит на свои худые грязные ручонки, и вдруг чувство горькой обиды и острой жалости к себе охватывает ее. Худенькие, костлявые плечики ее дрогнули, и она, уткнувшись головой в колени, беспомощно заплакала.

– Я ведь сама еще маленькая... Не останусь больше с вами – ни в жизнь... Что хочет, то пускай делает мамонька. А я скажу: нет уж, родимая мамонька, нажилась я с ними досыта. Лучше пошли ты меня на самую тяжелую работу...

Плача, к Лизке потянулась Татьяна. За ней навзрыд, в один голос, заревели Петька, Гришка и Федюшка.

Глава двадцать третья

Надежда Михайловна, а лучше сказать – Наденька, потому что в свои девятнадцать лет – худенькая, смуглая, по-мальчишески стриженная – она больше походила на школьницу, чем на учительницу, медленно поднялась в пекашинскую гору, с тоской поглядела на пустынную песчаную улицу, на немые, будто вымершие дома.

У нее ныли ноги, ломило от жары голову, чуть прикрытую пестрой косынкой, горели опаленные солнцем голые руки, лицо, шея. Морщась от боли, она добралась до бревна, лежавшего у изгороди, села в холодок и начала растирать босые запыленные ноги.

– ...Нет, это ужасно! Опять отказ! И до чего же противный этот предрика! Наорал, как унтер Пришибеев: «Нечего шляться, барышня! Раз уж ты такая охочая до войны, взяла бы грабли да воевала на поже...»

Да и она хороша! Вместо того чтобы все объяснить логично, разревелась, как девчонка: у меня мама у немца...

И в райкоме такие же пришибеевы: «Кто детишек учить будет? Немецких гувернеров выписывать?..» Поговори с такими!..

Наденька Рябинина за год до войны окончила педагогический техникум на Орловщине. Она росла в то время, когда советские люди победоносно наступали на Арктику. Что ни год – новый подвиг изумлял мир. Поход ледокола «Сибиряков», челюскинская эпопея, чкаловский перелет через Северный полюс, дрейфующая льдина папанинцев!..

Дух захватывало у молодежи. По вечерам, сбившись у репродукторов, она жадно вслушивалась в эфир. Тысячи и тысячи мальчишек и девчонок мысленно сопутствовали храбрцам, вступали в поединок с суровой стихией. Географические карты школьников в те годы были исчерчены диковинно смелыми маршрутами новых походов и полетов. В половодье с проплывающих льдин приходилось снимать не одного обмерзшего мальчишку, вообразившего себя папанинцем или челюскинцем.

У Наденьки Рябининой были особые счеты со страной белого безмолвия. С детства в ее душу запали рассказы матери о молодом смельчаке дяде, который трагически погиб, участвуя в экспедиции Седова. И все-таки для всех было полной неожиданностью, когда эта тихоня, как называли ее в техникуме, на распределении упрямо заявила: «Направьте на Новую Землю».

Скромный педтехникум на Орловщине не был уполномочен подбирать кадры для Арктики, и все, что он мог сделать, – предоставить Наденьку самой себе.

Мать, старая учительница из маленького городка, привыкшая все оценивать в философском свете, решила: «Это в ней кровь заговорила», – погоревала, поплакала – и стала собирать свою «черноглазую Арктику» в дальнюю дорогу. И вот в августе того же года семнадцатилетняя девушка с Орловщины на свой страх и риск отправилась в Архангельск.

Свирепое дыхание Севера она ощутила, едва переступила порог облоно. «Романтика», – сказали там. К тому же, как выяснилось, рейса на Новую Землю не предвиделось до лета следующего года. Что было делать? Возвращаться домой, чтобы ребята на смех подняли? Наденька взяла направление в Верхнепинежье один из самых глухих районов области.

В облоно, где всегда ощущали нехватку учителей, не поскупились на краски, расписывая тамошние края. Выходило так, что там и медведи запросто по деревне ходят, и люди передвигаются не иначе как на оленях и собаках.

На деле все оказалось куда как проще. Пекашино, в которое попала Наденька, было самым обыкновенным селом, мало чем отличавшимся от сел средней полосы. Медведи по улицам не ходили, оленей и в помине не было, а низкорослая северная кляча, на которой Наденька тряслась в Пекашино из райцентра, едва ли заслуживала предпочтения перед орловским рысаком. Впрочем, Наденька мужественно выдержала и этот удар. По крайней мере все ближе к

Новой Земле! А через год – она в этом не сомневалась – добьется своего. Если надо, весь Архангельск на ноги поднимет, до самого ЦК дойдет.

Зимними вечерами, когда от мороза потрескивали бревенчатые стены школьного здания, она выбегала на улицу и сквозь заиндевшие ресницы подолгу смотрела на северное сияние. Там, за полыхающими серебряными столбами, чудился ей сказочный остров – Новая Земля.

В воскресное июньское утро все рухнуло. А вскоре от матери перестали приходить письма, и ко всем горестям, которые принесла война, прибавилась еще одна – страх за мать.

Зимой сорок второго года, когда стали собирать теплые вещи для бойцов, она, в последний раз оплакав свои несбывшиеся мечты, сдала меховые рукавицы. Потом, прочитав в газете о подвиге юной партизанки Тани, решила: место ее на фронте. Кем угодно – только на фронт! И вот пять раз ходила она в райцентр, обращалась в райисполком, райком комсомола, райком партии – и все напрасно...

Сидя в холодке, Наденька припоминала сегодняшний разговор в райисполкоме и райкоме, мысленно не соглашалась, спорила. Неужели нельзя понять? Ведь не куда-нибудь – на фронт просится!

На дороге показались две колхозницы с граблями на плечах. Высокую, полную старуху она не знала, а эту, помоложе, светлолицую, в сером сарафане с нашивками, где-то видела. Ну да, вспомнила: сын ее, Сеня Яковлев, беленький мальчик, за первой партой сидел.

Поравнявшись с Наденькой, колхозницы молча, кивком головы, поздоровались. Она проводила их глазами. Далеко под горой в знойном мареве июльского дня серебром вспыхивали металлические зубья конных граблей, медленно двигались по лугу белые платки.

– Учительница-то наша на войну собирается, – услышала она голос Сениной матери.

Наденька насторожилась.

– Как же, – ответила старуха, – девка в самом соку – к парням норовит...

– Поворочала бы сена с нами, прыги-то небось поубавилось бы, – захохотала Сенина мать.

Кровь бросилась ей в лицо. Наденька резко вскочила, пошла, прихрамывая, по деревенской улице. У школы она опять присела. Одна мысль, что она сейчас войдет в свою пустую комнату, – одна эта мысль привела ее в ужас...

Жара все еще не спадала. Кругом тишина и безлюдье – хоть вешайся.

...И почему, почему ее никто не хочет понять? «К парням норовит!»! Как не стыдно так выражаться, а еще старая женщина! А эта – Сенина мать? Зимой проходу не давала: «Уж вытяни ты моего-то, Надежда Михайловна. Отец на войне, ради отца прошу...» А теперь вот какие слова! А что она сделала председательнице? Смотрит на нее как на блаженненькую... И Настя – подружка, нечего сказать. Завела про белого бычка: работай в колхозе. А вот если у тебя мать у немцев?

Невыносимая тоска и отчаянье сдавили ее сердце. Она поднялась, посмотрела на песчаную, зноем пышущую улицу и бесцельно, опустив голову, побрела по деревне.

Глава двадцать четвертая

Наденька еще издали услышала плач, а когда она, перепуганная, подбежала к крыльцу Пряслиных, увидела там целый выводок ребятишек. Грязные, со взъерошенными разномастными головами, они, как в непогоду, по-воробыному жались друг к другу и горько и безутешно плакали.

– Что же вы плачете? Вас кто-нибудь обидел? Лиза, где мама?

– На по-ожне... – захлебываясь слезами, отвечала Лизка.

– Так чего вы плачете?

– Федюшка говорит, я хлеб съела... А я ни капельки не съела... И корова не доена... А они еще глупые... – кивнула Лизка на ребят, – не понимают, что война на свете и мамка на работе... – И Лизка еще пуще разрыдалась.

Наденька беспомощно присела на корточки.

Молча, расширенными глазами она смотрела на этого худенького, вздрагивающего от рыданий ребенка, который рассуждал, как взрослый человек, немало повидавший на своем веку. И, может быть, только сейчас, в эту самую минуту, когда война глянула на нее вот этими скорбными, страдающими глазами ребенка, Наденька почувствовала весь ужас и безмерность страданий и горя, которые принесла война.

– Ну не надо, не надо, хорошие, – спохватившись, заговорила она. – Скоро мама придет...

Но дети не унимались.

Наденька в отчаянии оглянулась по сторонам и вдруг выпрямилась, топнула ногой:

– А ну, перестать плакать!

Ребятишки, всхлипывая, изумленно уставились на нее.

– И чего вы разревелись? Ты-то, Лиза, ай-яй-яй! Пионерка еще! И не стыдно тебе? Это ведь этакой коротыге да этому сердитому рыжику, – она потрепала по голове Татьянку и Федюшку, – разрешается немножко поплакать, и то не каждый день.

– И вовсе я не рыжик, – уклоняясь от ласки, проворчал Федюшка, – на рыжих-то воду возят.

Наденька, настраиваясь на обычный разговор взрослого с ребенком, заулыбалась:

– Ну хорошо, хорошо – не рыжик. А что же мы с тобой делать будем?

– А ты принеси нам хлеба, – выпалил Федюшка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.